1.

Марк Васильевич Суриков верстался на службу и попал в разряд не простых казаков, а сразу — десятником. Через какое-то время стал пятидесятником, командующим полусотней казаков. Такое скорое производство в офицерский чин, конечно же, не обошлось без ходатайства дяди, атамана Енисейского конного казачьего полка Александра Степановича Сурикова, и всё устроилось лучшим образом, без чиновничьих проволочек. Для юноши призывного возраста Марк был на редкость развит физически, хорошо сидел в седле, ловко владел пикой и саблей, брал любые препятствия — словом, постиг дедову казачью науку сполна. Ну и как такого поставишь рядом со всеми в строй? Многих «малолеток» ещё учить да учить надо, а Марк Суриков окончил полный курс уездного казачьего училища. Начальство тоже, поди, понимало: Суриковы — представители старого казачьего полка, все сплошь офицеры, и самому молодому из них вроде бы неприлично ходить в рядовых с такими-то знаниями. К тому же — как посмотрит на то красноярское общество? Не осудит ли за невнимание к заслугам почтенных предков, строивших, а затем почти столетие защищавших Красноярск от кровавых набегов кочевников?

Марк был невысок ростом, строен, тонок в талии и гибок телом. К его сухощавому смуглому лицу с чёрными блестящими глазами очень шла казачья офицерская форма: тёмно-синего сукна куртка с красным суконным воротником и подбитыми красным сукном серебряными чешуйчатыми эполетами, на которых был вышит вензель «Е»; тёмно-серого сукна шаровары, широкие, с борами спереди и сзади, без прошива канта, заправленные в полусапожки с железными шпорами; фуражка с овальной кокардой. На узенькой, из чёрной кожи, портупее висела казачья шашка образца 1838 года в деревянных ножнах, обтянутых чёрной же кожей, с медными кольцами для ремней, гайкой и наконечником. Ремни ещё не обмялись и поскрипывали, как свежий кочан капусты. И эти блестящие кольца, и сочные звуки ремней, и не выветрившийся сладковато-терпкий запах кожи, и шёлковый темляк шашки, и серебряное плетение помпона и кордончика на кивере — всё, всё необычайно волновало маленького Васю, племянника Марка. Он ещё не умел говорить, но всюду совал свой любопытствующий нос; любая вещь в доме не ускользала от его внимания. Марк подхватывал племянника на руки, сажал на колено, как на коня, верхом, и мальчик, держась ручонками за ремни портупеи, изображал всадника.

— Ну ты посмотри на него: от горшка два вершка, а уже коня ему подавай! — посмеивалась Гликерия. — А ведь никто не учил этому, не показывал… Казак — он и есть казак!

— Дед бы сейчас, царство ему небесное, порадовался, — говорил Иван Васильевич, — он так хотел увидеть правнука…

— Зато внук — офицер! — похвастался Марк, в который уже раз бередя душу брата этим напоминанием.

Хотя Иван Васильевич и не жалеет, что стал статским чиновником, однако нет-нет да и взметнётся в нём огонёк ревности к Марку, взметнётся, поколеблется и тут же погаснет, задутый встречным движением братней нежности.

— Недаром святой отец при крещении назвал меня «седьмым сыном», — продолжал Марк, — а это что-то да значит. Не переведутся в суриковском роду офицеры!..

История с «седьмым сыном» известна всем, все так и навеличивают Марка, всё более в шутку, а пошла она гулять по свету от матушкиного дерзкого язычка, всюду разносившего свою неприязнь к «басурманскому» имени. Наталья Афанасьевна так и не смирилась с тем, что её покойный муж, туруханский сотник, легко согласился на такое, прости господи, имечко.

Своего первенца они назвали Иваном в честь деда, Ивана Петровича, пятидесятника. Он появился на свет слабеньким, и потому второго сына тоже назвали Иваном — на всякий случай. Однако первый Иван оклемался, выжил, окреп, вот и росли вместе оба Ивана, погодки, а чтобы их отличать друг от друга, старшего кликали Ванькой, младшего — Ванюшкой. Это всё дед, его придумка. Правда, мать звала их по-своему — Ваня и Ванечка, младшего она почему-то больше любила. Были у них ещё дети, девочки и мальчики, и все они умерли в младенчестве, но вот последышек,

появившийся на свет через восемнадцать лет после Ивана-второго, оказался живучим.

В церкви при крещении младенца священник спросил:

— Как хотели бы назвать сына?

— Василием,— не задумываясь, ответил туруханский сотник.

— А сколько всего детей-то у вас было, живых и мёртвых?

— Живых — третий вот… С неживыми — седьмой…

— Седьмой сын — это хорошо. Нарекём-ка раба Божия Марком, в святую честь апостола Марка!

— Имя должно быть русское, казацкое,— упрямился сотник, но священник стоял на своём:

— У вас ведь — седьмой сын?

— Четверо-то умерли!

— А вот седьмому сыну уготована Господом нашим долгая жизнь. Седьмой сын, дети мои, у многих народов почитается как чудотворец. В Англии и Франции, например, он, как и король, может одним своим прикосновением исцелять, скажем, от зоба… Седьмого сына всегда и везде крестили именем Марк. Да к тому же и родился ваш сын в апреле. А в апреле,— священник раскрыл книгу, повёл по странице пальцем, отыскал нужную дату,— вот смотрите, в апреле, двадцать пятого числа, православные христиане чтут память евангелиста Марка. Впрочем, это то же, что и Иван. Называют его также Иоанн-Марк, сын Марии, в доме которой в Иерусалиме собирались христиане…

— Ну что ж, Марк так Марк,— скрепя сердце согласился Василий Иванович.

И в ежегодных «Исповедных росписях» градо-красноярской Покровской церкви с 1825 года стало регулярно упоминаться это новое, незнакомое, несколько странноватое для сибиряков имя…

«Седьмой сын» был насмешлив и незлобив, был добр со свояченицами и нежен с детьми, иногда любил подшутить — «устроить каверзу», «сделать козу» или «козью морду» — и от души посмеяться. Тогда он и вовсе не знал никакого удержу. Но бывали минуты — словно язык проглатывал: замыкался, как бы захлопывался изнутри, уходил в себя и в задумчивой отрешённости часами сидел на берегу, смотрел на быстро текучую воду и следил за плывущими по Енисею плотами. Всяким видели Марка: и весёлым, и грустным, и трогательно заботливым, и даже хвастливым, но вот злым или очень разгневанным — никогда.

Пока взрослые разговаривали между собою, маленький Вася, открыв рот, прислушивался, даже перестал играть блестящей пуговицей на Марковой куртке.

— А ведь он всё-всёшеньки понимает! — опять заметила Гликерия.

Своих детей у неё не было, и потому она сильно привязалась к мальчику, баловала и не спускала с рук.

Марк поставил Васю на пол, поднялся, прошёлся по комнате, поскрипывая кожей.

— Чисто генерал! — восхищённо произнесла Дуняшка, ставя на стол булькающий, утробно кипящий самовар: семья готовилась к вечернему чаю.

— Уж больно кавалерист,— проворчала Наталья Афанасьевна,— девки, поди, с ума посходили, того и гляди заплот пораспишут… Смотри мне: гулять гуляй, да девок не порть, не осрами фамилью-то!

Марк лукаво подмигнул свояченицам, конфузливо фыркнувшим, и с серьёзным видом ответил матери:

— Фамилию нашу, матушка, осрамить невозможно — только прославить!

— Эка дурень. «Слава» — слово, да смысла-то в нём — два.

— Да за такого кавалера любая девушка из порядочного семейства пойдёт,— вставила Гликерия.— Жениться тебе пора, Маркуша!

— Ещё чего! — вскинулась Наталья Афанасьевна.— Пускай-ка сначала оперится да в зрелый возраст войдёт, а судьба придёт — сама руки свяжет. Семью, поди, содержать надо, а жених и сам гол как сокол. Никакой атаман разрешения на брак не даст.

Старая казачка была права. Говоря так, она, конечно же, имела в виду высочайше утверждённое «Положение о браке военнослужащих», в котором прямо сказано, что всякий офицер должен испросить на вступление в брак разрешение командира своего, а тот, в свою очередь, обязан рассмотреть прошение подчинённого и быть уверенным в благопристойности этого брака. И это ещё не всё. Нужно доказать имущественное обеспечение офицера, приносящего двести пятьдесят рублей чистого годового дохода; оно должно быть предоставлено в распоряжение полка и возвращается по достижении офицером двадцати восьми лет и при увольнении в запас или отставку ранее этого возраста. Станичным офицерам в том отношении было намного легче. У них имущественное обеспечение — земля, и жениться для них — иметь лишние рабочие руки. Офицеры же городового конного полка, живущие в городе, имели только заимки — угодья для сенокошения. Вот почему городские казачьи офицеры чаще всего неженаты. Взять хотя бы атамана Александра Степановича. У него даже дома своего нету, хотя… Дом по Качинской улице[1], построенный в конце восемнадцатого века и перешедший по наследству от прапрадеда Петра Васильевича к старшему сыну Степану, а затем — к Александру Степановичу, атаман отдал в полное владение своему семейному брату Тихону, старшему уряднику первой сотни Красноярской станицы.

Впервые в России вопрос о необходимости имущественного обеспечения браков офицеров

……

1. Дом сгорел 18 апреля 1881 г.

был возбуждён графом Паскевичем-Эриванским в 1835 году. Особо обострился он во время Восточной войны, когда семейства многих офицеров в частях войск 1-й армии, выступавших в поход, находились в таком бедственном положении, что их существование невозможно было обеспечить из сумм, имеющихся в распоряжении главнокомандующего…

— Я знаю, матушка,— сказал с улыбкою Марк,— что жениться мне ещё пока не к спеху. Даст Бог, обживусь, а уж тогда… Атаман Александр Степанович обещал назначить меня командующим пятой сотней, той самой, что стояла в Туруханске, в коей батюшка наш был сотником. Теперь эта сотня дислоцируется в Минусинском округе. Стану собирать с татар ясак и построю себе дом на жалованные меха, как это сделал батюшка наш, куплю пару хороших выездных коней и красивую коляску, оденусь барином — и в путь, невесту высматривать! Выберу красивую да богатую, дочь какого-нибудь золотопромышленника… Вот сумел же беглый помор из Архангельска, сын разорившегося купчишки, господин Сидоров, стать зятем богача Латкина, так, может, и мне повезёт?

— Какие там, в Минусинской степи, меха?! Окстись-ка, сынок! Разве только овечьи. Да ещё конски шкуры.

— И каменны идолы,— подсказала всё время молчавшая Прасковья.

Она сидела на сундуке, вязала на спицах, а у её ног играли дети, Катя и Вася, катая клубок с прядеными нитками. Сбоку, на сундуке же, примостилась Лиза и, водя пальцем по строчкам, читала псалтирь.

— А на всю Минусинску степь,— продолжала Наталья Афанасьевна,— хозяином Чирка Картин со своими несметными табунами необъезженных лошадей. Все татары под ним ходят. Богаче его нет никого в округе. Ежели с умом подойти, так можно и там свою золоту жилу иметь. С татарами будь построже — они сами с тобой своим богатством поделятся. Будет капиталец, найдётся и невеста…

— Эх, высватаю я, однако, дочку того Чирки!..— тихо рассмеялся Марк, поглядывая на медлительную Дуняшку, накрывающую к чаю стол, и негромко, почти нараспев, стал читать стих:

В дом свой супругу вводи, как в возраст придёшь подходящий.
До тридцати не спеши, но и за тридцать долго не медли:
Лет тридцати ожениться — вот самое лучшее время.
Года четыре пусть зреет невеста, женитесь на пятом.
Девушку в жёны бери — ей легче внушить благонравье.
Взять постарайся из тех, кто с тобою живёт по соседству.
Всё обгляди хорошо, чтоб не на смех соседям жениться…[2]

Расставив блюдца с чашками, Дуняшка с пустым подносом остановилась, прислушалась к музыке стиха, к словам, таким понятным, точным и важным, и совсем забыла про свои обязанности, пока Наталья Афанасьевна не прикрикнула на неё:

— Чё зенки-то выпучила? Ступай! Дал же Господь этакой дурище здоровье, да лень раньше родилась.

Сама же она всё время хворала, силы её таяли, и оттого, быть может, накапливалась в ней то ли злость на свою беспомощность, то ли зависть ко всякой молодой девке, пышущей крепким здоровьем. И всё же обарывала свой недуг, с трудом, но подымала себя с кровати, заставляла ходить, что-нибудь да делать по домашности — и так, в движении, в разговорах, в повседневной сутолоке, отнимала у грядущей смерти день, час, минуту.

— Чё-то хозяина, кормильца нашего, долго нету,— вздохнула она и проковыляла к окну.

Солнце садилось за Дрокинскую гору, пылающее холодным жаром, и в окошках напротив бушевало отраженье такого же холодного пламени. Выпавший накануне ранний для октября снег окрасился в розовый — будто сукровицей облитый — мерклый цвет, быстро тускнеющий прямо на глазах. Редкие прохожие, кутаясь в воротники, спешат по домам. Нет-нет да и пролетит мимо извозчик, процокает одинокий всадник, вспугнув сторожкую тишину, и снова убаюканная лёгким морозцем улица погружается в тревожную полудрёму.

Вдруг Наталья Афанасьевна вскрикнула, отшатнулась от окна и торопливо трижды перекрестилась. В её тёмных глазах отразилась не то растерянность, не то боль.

Ни Прасковья, ни Гликерия, ни тем более Марк, человек совершенно не суеверный, не могли и подумать, что старой казачке что-то внезапно пригрезилось, напугав её,— они попросту решили, что ей стало плохо.

— Матушка!.. Маменька!.. Что с вами?

— Зажгите свечи! Скорей!

Зажгли свечи, задёрнули шторы, хотя на улице ещё было достаточно светло и в комнате можно было вполне обойтись без огня.

— Нашей матушке опять что-то показалось,— молвил Марк, сдерживая улыбку.

Женщины суетились вокруг старухи, дети с любопытством наблюдали за ними. Поскрипывая ремнями, Марк спокойно ходил по комнате из угла в угол. Дуняшка неторопливо ставила на стол сахарницу, вазочки с вареньем, сухарницу с поджаренными ломтиками сдобной булки, вазу с ароматными пирожками и, взмахнув подносом, проводив тоскующим взглядом повернувшегося к ней спиной Марка, так же не спеша, вразвалочку, прошла в кухню. Марк по запаху определил — это его любимые пирожки, с молотой черёмухой. Дуняшка, холера такая, знала, чем угодить холостому казачьему офицерику, и он

2. Гесиод — древнегреческий поэт (VIII–VII вв. до н.э.). Поэма «Работы и дни».

от соблазна отошёл подальше, чтобы ненароком по-мальчишески не стянуть и не отправить в рот лакомый кусок.

Между тем выяснилось, что ничего особенного со старухой не произошло. Сказались переутомление, бессонница, болезненное состояние, усердная молитва и длительные стояния на коленях перед образами — вот и привиделся ей какой-то старец…

— Какой такой старец? Да кто же он? — допытывались у неё Прасковья с Гликерией, недоумевая, как могло что-то почудиться, если на дворе даже и не стемнело.

— Это Феодор Кузьмич был, Божий посланец, я его видела, — отвечала старуха и указывала рукой на окно. — Он этак вот стоял, внизу, под окошком-то, лицом ко мне обратился, смотрит в глаза и ласково так мне говорит: «Зима будет лютой и долгой, но ты её, матушка, переживёшь…» А сам весь белый как снег, и одёжка на нём белая, навроде длинной рубахи с опояской.

— А почему вы решили, что это Феодор Кузьмич?

— Ну как же, я ж его вот как вас этим летом видеть сподобилась, Господь направил меня к нему. И не одна я была, а с богомолками — три старухи да четыре паломника из Расеи. Увидела — и сердце захолонуло: ну чисто император покойный, Александр Павлович! Похож как две капли воды. А может, это он и есть? Говорят, император-то и не помер вовсе, а тайно ушёл в народ страдать за грехи свои тяжкие, за отцеубийство…

Вспомнили: на Феодора Стратилата матушка действительно ходила на богомолье и отсутствовала тогда две недели. Воротилась измученная, усталая, однако на нездоровье не жаловалась, и в её запавших глазах на загорелом лице светилась торжествующая мысль: дескать, я теперь знаю великую тайну, открыть которую не имею права. Но домочадцы особо-то и не спрашивали.

Зато сейчас проявили любопытство: на самом ли деле похож тот старец на покойного императора? И оглядывались на стену, где висел его портрет рядом с портретом ныне здравствующего царя Николая Павловича в дешёвеньких деревянных рамках.

— А живёт-то он где, у кого?

По словам старухи, Феодор Кузьмич приписан к деревне Зерцалы, что под Ачинском, на поселение, но жил на казённом винокуренном заводе, в двух верстах от Краснореченской деревни, потом в Зерцалах у поселенца Иванова, а с прошлого года — опять на Красную Речку подался. По его просьбе богатый и богобоязненный крестьянин Иван Гаврилович Латышев отвёз старца к себе на пасеку, это от Краснореченской вниз по Чулыму, на берегу, в красивом месте; там, в вырытой им земляной келье, он и жил.

— А сейчас, право слово, не знаю где. Может, опять в Зерцалах. Большого ума человек! И происхожденья, видать, не простого…

В это время к воротам подкатила атаманская коляска с крытым верхом, из неё соступнул на землю Иван Васильевич и пошёл к дому. На козлах вместо кучера сидел сам атаман Александр Степанович. Он тяжело сполз вниз и, прежде чем привязать коня, как делал это всегда, придирчиво осмотрел упряжь. Всё проверив, немного отпустил чересседельник, ослабил недоуздок, вынул удила, бросил перед мордой коня охапку сена и только тогда, придерживая рукой саблю, протиснулся в узкую калитку. По двору он шёл быстрой размашистой походкой, слегка нагнув крупную голову в чёрной мерлушковой папахе, на невысоком крыльце с резными балясинами стал сбивать с сапог снег.

Первой, как всегда, встречала его старшая дочка Ивана Васильевича, одиннадцатилетняя Лиза.

— Деда Саша приехал! Деда Саша! — радостно закричала она и метнулась к двери.

— Шальная, обутку-то хоть надёрни! — ахнула Наталья Афанасьевна, пуще глаза оберегавшая внучку-сиротку от простуды. — Ну что за дитё, прямо наказанье Господне…

Вошёл Александр Степанович. Тёмное, как голенище (выражение Натальи Афанасьевны), лицо его с холода казалось ещё черней, чёрные с синеватым отливом усы, разрежённые серебряными нитями, по-казацки лихо закручены кверху, что придавало этому уже немолодому человеку молодецкий вид, живые тёмно-карие глаза возбуждённо блестели. Он подхватил девочку на руки, чмокнул в щёчку, пощекотал мокрым усом и опустил на пол.

— Я вот тебе, любимка моя, леденцов принёс, от зайчика, — простуженным тенорком пропел атаман, роясь в кармане серой офицерской шинели с меховым воротником. — Еду, значит, глядь — зайчишка из-под кустика выскочил, ушами-то хлоп-хлоп да и говорит: передай, говорит, Лизавете Ивановне от меня лично. А леденцы-то не простые — волшебные, — и протянул круглую, ярко раскрашенную жестяную коробку.

От радости Лиза взвизгнула, схватила подарок и убежала в свою комнату.

— А где тут маленькая проказница Катерина Ивановна? — продолжал он тем же певучим голосом. — У меня и для неё, лисоньки рыжей, подарочек припасён.

Катя уже вертелась у его ног, дёргала за полу шинели: мол, давай сюда твой подарок; атаман взял её на руки, поцеловал, пощекотал усом, потёрся бритой щекой о её тёплую головёнку и вручил такую же коробку с леденцами, только иного раскраса. За трогательной этой сценой внимательно наблюдала Прасковья, державшая на коленях маленького Васю. Иван Васильевич с улыбкой показывал Марку глазами: смотри, мол, как дочки деда любят! Марк согласно кивнул, улыбнулся и глянул на Гликерию, сморгнувшую слезинку: своих

детей Бог ей не дал, хотя она и рожала трижды, и потому, завидуя чужому счастью, сильно страдала. Наталья Афанасьевна поворчала для порядка, что атаман, дескать, шибко балует девчонок, оттого и растут они неслухами, и прикрикнула на Дуняшку, чтобы та «не пялилась на казачьи мундиры», а пекла бы шаньги, если уже подоспело тесто.

— Да живо, живо давай! Ох и нерасторопа, деревня-матушка, прям как коза на кровлю мостится, вкруг себя за час не обернётся. В квашонку-то загляни, может, тесто уж через край ползёт!

— Сичас! — Дуняшка скрылась в кухне и оттуда крикнула: — Готово, хозяйка!.. Пеку, пеку-у!..

Александр Степанович развязал башлык. Снял портупею вместе с саблей, шинель, папаху, всё это передал в руки выбежавшей из кухни Дуняшке и прошёл в залу, освещённую свечами.

— А ну-ка, показывайте своего казачка! И где он тут прячется? А-а, вот он! А как вырос, как вырос!.. Ну прямо хоть сейчас на коня сажай, — ворковал он и, сорвав с колен матери засыпающего мальчика, подкинул его, ошеломлённого, кверху раз и ещё раз, поцеловал, потискал, посадил себе на шею и так поскакал по комнате, изображая коня.

— Словно дитё малое, прости Господи, — рассмеялась Наталья Афанасьевна.

Атаман остановился, передал мальчика матери, Прасковья тут же принялась его укачивать, но ребёнок тянулся ручками к деду, капризничал.

— Ишь, понравилось! Казаком будет лихим! — Александр Степанович сунул руку в карман, извлёк оттуда фигурку всадника, вырезанную из слоновой кости, и протянул мальчику. — А это, Василий свет Иванович, от меня тебе подарок.

Вася схватил фигурку всадника и успокоился.

Из кухни тянуло пряным духом — в печи пеклись шаньги. Наталья Афанасьевна самолично проверяла готовность сдобы на противне и гремела заслонкой. Там же, глотая слюнки, крутилась Лиза; бабушка на неё прикрикнула, и девочка пулей вылетела из кухни, села рядом с Гликерией на диване.

Полноправной хозяйкой в доме после смерти в 1836 году туруханского сотника Василия Ивановича была его вдова Наталья Афанасьевна, и пока она не сядет за стол и первой не нальёт себе чаю, никто не смел прикасаться к еде — таков порядок, заведённый в семье издавна, и он соблюдался неукоснительно. Даже Лиза, которую бабушка любила и баловала, не осмеливалась его нарушить, как бы ни была голодна.

В ожидании хозяйки всяк занимался кто чем, лишь бы скоротать время. Иван Васильевич шелестел страницами «Санкт-Петербургских ведомостей», просматривая заголовки, что-то прочитывая. Атаман Александр Степанович разговаривал с Марком, уединившись в углу за ломберным столиком, за которым редко теперь кто играет в карты. Гликерия вышивала на пяльцах. Прасковья уложила детей спать и вскоре вернулась в залу, устало опустилась на диван рядом с Лизой. Лиза тут же вскочила и пересела на другую сторону. Прасковья пожаловалась Гликерии:

— Господи, ну почему она дичится меня?

А девочка не просто дичилась, она ревновала отца к мачехе, мачеху к Катеньке и Васе, сложные чувства боролись в ней — и злилась, бывало, и плакала до истерик, и капризами часто изводила весь дом. Как ни старалась Прасковья ласкою, нежностью, смешными рассказами расшевелить, отогреть захолодевшую душу девочки, повернуть её к себе — ничего у неё не вышло. Больше всего девочка жалась к Гликерии, в её комнате и в куклы играла, а вот спать ложилась в одну постель с бабушкой, хотя рядом стояла её кровать.

Но тут заплакал Вася, и Прасковья поспешила успокоить ребёнка, провожаемая долгим, отчуждённым взглядом Лизы, что не ускользнуло от внимательных глаз отца. Иван Васильевич оторвался от газеты и строго глянул на дочь. Глаза у Лизы блестели недетской суровостью, на смуглом лице застыло выражение внутренней борьбы, тонкая шея вытянулась, напряглась вослед уходящей мачехе.

— Что та-акое?! — Иван Васильевич отшвырнул газету.

Видя такое дело — вот-вот губернский регистратор схватится за ремень, Александр Степанович оставил Марка и подсел к раздражённому отцу семейства.

— Что в газетке-то пишут? Опять, поди, ухлопали кого?

Иван Васильевич пожал плечами и, удивлённый, почему какой-то пустяк так волнует старого казака, нехотя ответил:

— Да никого вроде... А вот пишут, что русский царь усмирил Венгрию. Лорд Пальмерстон выступил в защиту угнетённых венгров. Разогнан Франкфуртский парламент, ставящий себе целью объединение Германии.

— Да-а-а... Всюду бунты, бунты, как с прошлого года начались, так до сих пор Европу и трясёт. Как бы эта волна да в Россию разом не выплеснулась! Вся бунтовщицкая зараза в Европе накапливается. А впрочем, — атаман махнул рукой, — пусть они там хоть перережут друг дружку, нам-то что до той Европы?

— До Сибири не докатится, — убеждённо сказал Иван Васильевич и продолжал комментировать прочитанное в газете: — В ходе нынешней революции в Германии фабрикант Энгельс, друг Маркса, признался, что если марксистам придётся взять власть в этой стране, то самое малое, что произойдёт, — они будут физически уничтожены. Он предполагал: революционеры изберут себе именно эту долю. Так что события прожитых нами двух лет

привели к крушению революционных настроений в Западной Европе.

— Значит, очередь за Россией? Нет, довольно бунтов на святой Руси! Много жертв, много крови от них, и никакой пользы.

— А Ермак? Он ведь из бунтарей,— вставил Марк.

— Ермак — другое дело, он Сибирь завоевал для нас. Царь простил его. Ермака чтут в России. Говорят, во дворце графов Строгановых в Петербурге Ермакова пищаль хранится.

— А в Тобольске над речкой Курдюмкой возвышается бронзовый памятник Ермаку,— подсказал Иван Васильевич,— и поставлен он более десяти лет назад.

— И декабристы за народ бунтовали, а что вышло? В Сибирь согнали, на каторгу,— сказал атаман.— Со многими приходилось встречаться мне. Положительно славные люди.

— Я тоже встречался,— хвастливо заявил Марк.

— Не тогда ли, когда я тебе уши надрал?— улыбнулся Иван Васильевич.

— Ну-ка, ну-ка… Оч-чень любопытно!— оживился атаман.

— Это было в году этак тридцать седьмом,— начал свой рассказ Иван Васильевич.— Жили на Благовещенской улице два ссыльных брата, государственные преступники Бобрищевы-Пушкины, Павел Сергеевич и Николай Сергеевич. Да вы знаете их! Оба служили в Казённой палате, это на Старобазарной площади, и слыли в городе превосходными врачами, причём бедноту красноярскую врачевали совершенно бескорыстно. И хотя Николай Сергеевич был, как говорят, не в себе, однако тихое помешательство не вредило его работе, наоборот, он бывал собран, сосредоточен, ошибок не делал, одна беда — заговаривался. Речь вроде умная, правильная — и вдруг ни к селу ни к городу начинает вас убеждать в необходимости завоевания Турции, советует, как легче взять Константинополь… Около одиннадцати утра Николай Сергеевич имел обыкновение прогуливаться, и маршрут всегда один и тот же: Старобазарная площадь — уездное училище и обратно. Руки он держал всегда сзади, намотав на палец конец большого красного шёлкового платка. Другой конец платка волочился по земле. Так он ходил минут сорок, бормоча что-то себе под нос, и возвращался на службу, раскланиваясь с каждым встречным. Если попадался мальчик — бывало, остановится, дружелюбно потреплет по щеке и непременно скажет ему что-нибудь ласковое… И вот как-то спешил домой к обеду, я тогда уже был губернским регистратором, служил в управлении,— и что вижу? Из училища с криками и улюлюканьем высыпала стайка школяров, окружила бедного декабриста и ну дразнить его! Они скакали вокруг, показывали языки, смеялись, выкрикивали обидные слова и дёргали за конец волочившегося по земле платка или за полы сюртука. Я возмутился, бросился на выручку — и тут увидел брата. Марк пытался ухватить конец платка, а бедняга Пушкин тщетно старался поймать кого-нибудь из озорников. Что произошло потом, я думаю, и без того ясно…

На этом Иван Васильевич оборвал свой рассказ и лукаво посмотрел на брата, как бы спрашивая его: «Ну как, уши-то не болят?»

Лиза слушала и не сводила с отца восхищённых глаз. Гликерия беззвучно смеялась, прикрыв рот ладошкой. Марк смущённо пощипывал усы. Атаман Александр Степанович подмигнул ему и насмешливо спросил:

— Ну и чем всё-таки дело кончилось?

— Потом, бывало, как встретимся, он всегда говаривал: «Милый Маркинька, не связывайся с балованными мальчишками!» И каждый раз провожал меня до дома Коновалова…

Наконец из кухни павою выплыла кухарка Дуня, держа на вытянутых руках гору душистых румяных шанежек на серебряном подносе. Следом степенно вышла Наталья Афанасьевна, разрумянившаяся у печи. Быстрым взглядом окинула залу.

— Чтой-то Параскевы не вижу,— заметила она и велела Лизе сбегать за нею.

Девочка опять напряглась, живой блеск в её широко раскрытых глазах погас, она неохотно сползла с дивана и, опустив голову, медленно направилась к выходу.

— Чего ты как сонная? Живо мне!— крикнул отец.

Через минуту в сопровождении Лизы явилась и Прасковья, все уселись за стол, и Наталья Афанасьевна, наливая себе в чашку чая, торжественно объявила:

— Ну вот, теперь вся родня в сборе, не хватает Василия Матвеича, но его, как гулливого кота, и днём с огнём не сыскать.

На правах хозяйки дома она сидела в торце стола, в центре всеобщего внимания, слева от неё располагался Иван Васильевич, на этот раз без сына на коленях, рядом с ним — Прасковья (без Катеньки); по правую руку всегда сидели рядышком Лиза, Гликерия, Марк. Атамана Александра Степановича, как почётного гостя, усадили напротив хозяйки. До того, как отцу привести в дом Прасковью Торгошину, Лиза любила сидеть у него на коленях, а когда подросла — то между ним и бабушкой, искренне считая, что после смерти её матери, Пелагеи Егоровны, место это по праву принадлежит ей. Но в дом вошла мачеха, и всё переменилось. Тогда Лиза и пересела к Гликерии.

Пили чай, как принято, из блюдечка. Пили не спеша и до тех пор, пока не прошибёт жаркий пот, а по всему телу не разольётся приятная истома и не разомлеет душа. Пили с сахаром вприкуску, мёд и варенье доставали серебряной ложечкой. Марк, любивший всё сдобное, нахваливал пирожки с

молотой черёмухой. Александр Степанович сокрушался, что от сдобы его разнесёт ещё пуще, а толстеть ему полковой доктор Смелянский не советовал, тем не менее одолел две шаньги и потянулся за пирожком. За чаем болтали о том о сём, вспомнили и про бабушкино видение с Феодором Кузьмичом, на что атаман отреагировал своеобразно: мол, в Сибири самозванцев разного рода, от Гришки Отрепьева до великого князя Константина Павловича,— пруд пруди. Потом поговорили о предстоящей службе Марка в Таштыпской станице Минусинского округа, среди нехристей-татар, которых велено свыше окрестить, и как можно мирно, без никакого насилия. Велено также из мест расположения пятой казачьей сотни вытеснить кочующих татар. Так что служба Марку не покажется сладкой.

Всем было интересно, только Лиза была вялой, задумчивой, ничего не ела и лишь тянула из фарфоровой чашки пустой чай.

Прасковья ласково заметила ей:

— Что же ты не ешь, доченька? Бери шаньги, мёд, варенье…

— И никакая я вам не доченька! Катька — доченька, а я не доченька, я чужая! — громко и зло выкрикнула Лиза и разрыдалась, выскочила из-за стола.

За столом установилось неловкое молчание. В напряжённой тишине оглушительно звякнула упавшая в блюдце чайная ложечка. Прасковья побледнела, затем смуглое лицо её пошло красными пятнами, глаза набухли синеватой влагой. Иван Васильевич угрожающе приподнялся и стал выдёргивать из штанов ремень.

— Как ты разговариваешь со старшими, негодная девчонка?!

— Сиди уж, — остановила его мать властным движением руки. — Надо было учить, кода поперёк лавки лежала, а теперь — поздно, вот-вот заневестится. Кто ж битую девку замуж возьмёт?

— Девочек бить — самое распоследнее дело, — сказал атаман, известный на всю губернию своей добротой, отзывчивостью.

Блестящий казачий офицер, будучи одно время красноярским градоначальником, он всех жалел, даже преступников, а к женщинам-арестанткам имел особое расположение. Сидящих на городской гауптвахте барышень, арестованных на пятнадцать суток за нарушение общественного порядка городским полицмейстером, Александр Степанович предписал на работы по уборке городских улиц не назначать, дабы не унижать их женского достоинства. После него, правда, женщин уже не щадили, и можно было часто наблюдать такую сцену: под конвоем вместе с хулиганами, пьяницами, мелкими воришками какая-нибудь хорошо одетая барынька шла с метлой на плече подметать тротуары.

— Девочек надо любить и баловать, — после некоторого молчания прибавил атаман. — А то что же получается? В полиции их порют, дома порют — и кого мы в итоге получаем? Озлобленное существо, жестокую по отношению к собственным детям страдалицу-мать. Она станет избивать своих детей, те, в свою очередь, — своих. И так до бесконечности. Эх, поротая-перепоротая Россия! Да когда же, наконец, отменят у нас телесные наказания?

— Никогда! — убеждённо заявил Марк и стал доказывать, что хорошая порка иному только на пользу.

— Ну-ну, — хмыкнул атаман, — хотел бы я посмотреть, что запоёшь, когда тебя пороть станут. А впрочем, тебя, как офицера, пороть не будут, а на гауптвахте, чувствую, насидишься… Больно ершист и непослушен!

— Плох тот казак, что на «кобыле» не лёживал и на «губе» не сиживал! Меня этим, любезный дядюшка, не испугаешь!

Между тем Иван Васильевич скоро успокоился. Видно, стыдно стало за свою вспыльчивость, и он с виноватым видом бормотал что-то вроде того, что и бить-то вовсе не собирался, а только пострашать непокорную дочь, и что будто бы пошутил так неуклюже — не к месту и не ко времени. Вину свою, надо полагать, он признал и, оправдываясь, дал слово и пальцем не трогать не только Лизу, но и всех остальных детей, однако ручаться, что в другой раз не взорвётся, он, конечно же, не сможет по причине такого уж крутого характера, коим наделил его родной батюшка Василий Иванович, туруханский сотник. И тут все вдруг вспомнили, как этот самый сотник во время охоты, осерчав на коня, откусил ему ухо.

— Ох и характерец был у покойного, царство ему небесное, — сказала Наталья Афанасьевна и вздохнула, вспомнив своего рано ушедшего из жизни строптивого супруга. — И все-то вы, Суриковы, друг дружку стоите, все горячие и непокорные, прямо беда с вами. Вот и внученька — тятя родимый… Каковы веки, таковы и человеки — Ермаку Тимофеичу родня!

— И стрельцам государевым! — вставил всезнающий Марк.

— Ещё чего! — вскинулась мать и осуждающе посмотрела на «седьмого сына». — Были мы люди вольные и пришли сюда, в Сибирь-матушку, по собственному почину. А стрельцы те — царём сосланные на вечное поселение, так что ставить нас рядом с какой-то посельгой негоже, сын…

Сама же она, гордясь своей девичьей фамилией — Черкасова, была в твёрдом убеждении, что своим происхождением обязана станице Черкасской[3], столице мятежного Дона, славящегося

3. Станицу Черкасскую затопляло ежегодно весенним половодьем, и атаман Платов столицу Войска Донского перенёс на другое место. Старая станица стала называться Старочеркасской, а новая — Новочеркасской. Там и воздвигнут графу Платову бронзовый памятник.

вечными смутами и великими разбойниками, отчего и казаков там всех подряд звали черкасскими. А родоначальником фамилии не без уверенности считала Ивана Александрова по прозвищу Черкас, которого Ермак Тимофеевич летом 1583 года послал в Москву с донесением о взятии Сибири. Не губернией, не побеждённым царством, а целым материком поехал к царю Ивану Грозному бить челом Ермаков посланник! «Вот тебе и сверхцарский подарок!» — любил повторять сию достойную фразу Афанасий Романович Черкасов, потомственный казак, слышавший её от своего отца, а тот, в свою очередь, — от своего; и так из поколения в поколение передавался этот рассказ, в таком виде и дошёл он до Натальи Афанасьевны. Так что было ей чем гордиться.

— И верно, с Дона мы выходцы, — подтвердил атаман Александр Степанович и вышел из-за стола, стал собираться домой. — Потому и форма у нас такая же, как у дончаков: синий цвет мундира — это Дон, красный цвет лампасов — воля…

— А пошто воля така маленька, всего-то две полоски на штанах? — спросила Дуняшка, подавая атаману шинель, папаху, башлык.

— Во-первых, не штаны, это у вас в деревне штаны, а у нас, казаков, — шаровары. А во-вторых, твои полоски называются лампасами. Поняла, пигалица любопытная?

— Угу. А пошто таки узеньки-то?

— Были ещё уже — на один палец. Когда государь император переводил казаков в регулярные войска, то сказал: что касается мундира — пускай будет Дон, а воли вам и на два пальца хватит. Стало быть, на палец воли добавил.

— Чё пристала-то к человеку? Ступай на кухню! — ревниво прикрикнула Наталья Афанасьевна, и девушка покорно удалилась. — А ты, батюшко Лександра Степаныч, не шибко-то потакай деревне-матушке, не её это дело — сколько нам воли дадено, — сказала она атаману, и тот, как всегда в таких случаях, добродушно отшутился:

— А что такого? Интересуется — ну и пусть… Была в Отечественную войну девица-кавалерист, а может, наша Дуняша станет девицей-казаком… Чем чёрт не шутит! А?

— Тебе всё шуточки, а она эвон вовсе от рук отбилась, выпучит глаза-те и стоит смотрит, а пироги горят…

— Да не горят, не горят, я же чую! — раздался Дуняшкин голос из кухни, приведя атамана в неописуемый восторг.

— Вот видишь, она — чует! — захохотал Александр Степанович. — И не только чует, представляете? Она всё слышит! Удивительная девушка!

Пироги на противне в печи действительно не горели, тут уж стряпка права, хозяйка упрекнула её, конечно же, зря. И так же напрасно обвиняла Дуняшку в лености, в том, что от рук отбилась, а между тем «деревня-матушка», медлительная на первый взгляд, всё делала быстро и аккуратно. Пироги же предназначались Марку в дорогу, в его путешествие по земским трактам, неизвестно сколько времени длившееся от подставы к подставе, через Ачинск и Минусинск, аж до самой границы с Китаем. И в том, что деревенская девка — «удивительная девушка», полковой атаман Александр Степанович не погрешил против истины: и Дуняшка вот уже которую зиму служит у Суриковых, привыкла к хозяевам и нанимается только к ним по окончании осенне-полевых работ; и сама Наталья Афанасьевна хоть и ворчит, но другой стряпки, исполняющей ещё и обязанности горничной, пожалуй, найти ей было бы не так просто.

Уже ступив ногой на порог, прежде чем толкнуть плечом дверь, Александр Степанович спросил Марка, вышедшего к нему навстречу, когда он вознамерен отправиться в путь, и тот ответил, что, может быть, денька через три, всё будет зависеть от того, как скоро полковая канцелярия выдаст ему на руки соответствующие документы, а полковой казначей — денежные суммы, отпускаемые от казны офицерам на удовлетворение всех их потребностей.

— Тот край мне совсем не знаком, — сказал Марк, — и хотелось бы знать, сколько потребуется времени, чтобы преодолеть весь этот путь от Красноярска до Таштыпской станицы.

Атаман ответил не сразу, подумал, покусал тронутый сединой чёрный ус, пощурился, обозначив сеточки морщин вокруг глаз, после чего заговорил с твёрдым нажимом в голосе:

— Считай: от Красноярска до Ачинска — сто шестьдесят семь вёрст, это десять часов быстрой езды. До Минусинска — более трёхсот вёрст — ещё двадцать часов. Потом до Таштыпской — двести двадцать вёрст… Хорошо, если не будет задержки со сменными лошадьми на подставах, то суток четверо, я думаю, ты будешь в пути. Командировочные получишь на пять суток. На продовольствие тебя поставят на месте. С лошадью, думаю, у тебя проблем не будет: купишь там у Чирки Картина — у него несметные табуны; русских казаков он обожает, может и за бесценок отдать, может и подарить. На него как найдёт: то скупердяй до бесчувствия, то щедрый как Бог… А Карку не бери, не надо, пускай свой пенсион при хозяйке отбывает как память о туруханском сотнике, да и без лошади в хозяйстве нельзя — дров подвезти, сено… И вообще, навершным в этакую пору куда-то ехать — безумие! Лошадь подковы сотрёт, ноги собьёт, да и самому поберечься бы надо — кашляешь. Простыл-то где?

— А, ерунда, — отмахнулся Марк.

Через три дня он уехал. Была середина второго месяца осени — октября, а по сибирским

понятиям — последнего, потому что зима здесь начинается рано. Это в Минусинской котловине, куда едет Марк, ещё держится бабье лето, это там ещё можно увидеть цветущие скабиозы, донник, а в Красноярске уже властвовала зима. Снег, что выпал на неделе, уже повыдуло со всех улиц, земля стала каменной, и колёсные экипажи грохотали по дорогам, как по брусчатке. По Енисею шла густая шуга — значит, вот-вот река станет.

В полковой канцелярии дали Марку список с приказа о назначении его командующим пятой казачьей сотней, подписанный исправляющим должность полкового адъютанта сотником Суриковым Василием Матвеевичем, двоюродным братом Марка. Затем у казначея он получил положенные ему денежные оклады: жалованье на месяц вперёд, столовые и квартирные суммы, порционные деньги как командировочному, а также прогонные — на уплату за проезд на лошадях по почтовым трактам или на уплату обывателям за подводы. Напоследок вышел к нему и сам адъютант, в отутюженном чекмене со свисающим с правого плеча аксельбантом, перевитым золотой канителью, темнолицый, скуластый, с густыми усами, как два вороньих крыла, отливающими синевой. И прозвище Василий Матвеевич носил соответствующее — Синий Ус. Братья обнялись, будто не виделись, по крайней мере, лет десять, и Василий Матвеевич подал Марку ещё одну бумагу:

Билет

Предъявитель сего, Енисейского казачьего конного полка хорунжий Марк Суриков, следует из города Красноярска в Таштыпскую станицу Минусинского округа, в место своего прохождения внешней службы, а потому все градския и земския полиции благоволят давать ему свободный пропуск до означенной станицы, по прибытии куда обязан он явиться к тамошнему станичному начальнику. Дан в губернском городе Красноярске, за подписом моим и приложением полковой казённой печати.

В правом углу, внизу, очень чёткая подпись полкового атамана майора Сурикова, рядом, чуть ниже, менее чёткая — его адъютанта, а в левом углу, внизу, чернел оттиск полковой печати, круглой, величиной с пятак, на котором чётко выделялись двуглавый орёл на фоне двух красноярских гор — Такмак-скалы и Ермак-скалы — и надпись: «Енисейскаго казачьяго коннаго полка».

— Это твоё «Проходное свидетельство», не потеряй, будь бдительным и на постоялом дворе, и на станциях, кабы какой варнак его у тебя не стянул.

— Да уж постараюсь, — пробормотал Марк, засовывая бумаги за подкладку шинели, в потайной карман. — Красивая у тебя форма, брат, — заметил он, разглядывая стройную фигуру адъютанта, которому так к лицу и синие шаровары с красными лампасами, и тёмно-зелёный чекмень с серебряными газырями, и мягкие погоны-ватрушки с вензелем «Е. П.» на плечах. — Новое «Положение об Иркутском и Енисейском казачьих конных полках» я читал, а вот новую форму вижу впервые.

— Ничего, скоро и у тебя такая же будет. Пока только штабные получили да начальство повыше нас, остальные — потом. Как дома-то дела? Все живы-здоровы?

— Матушка прихварывает, еле ходит. Как прошлым летом с паломниками от Феодора Кузьмича вернулась, так и обезножела. Но виду не показывает, изо всех сил держится.

— А казачок?..

— Растёт казачок, да таким разбойником, что только диву даёшься! Вчера угольком стену в кухне каракулями расписал, ну, отец ему, конечно, ремня всыпал и в угол поставил. Стоит, сопли на кулачок мотает и молчит, не плачет! — Марк хихикнул, тряхнул головой — видно, приятно ему рассказывать о племяннике. — Настоящим казаком вырастет тёзка твой, господин сотник! Вот вернусь — начну обучать его верховой езде, джигитовке... Помнишь, как нас с тобой дед, Иван Петрович, обучал? Век не забуду его науку!

Полковой адъютант вызвался проводить Марка до деревни Бугачёвой, что в двенадцати верстах от Красноярска, и они на атаманской коляске, стоявшей у крыльца, с разрешения Александра Степановича доехали аж до села Арейского, откуда ежегодно в девятую пятницу после Пасхи организуется крестный ход в Красноярск — через Воскресенский собор на Караульную гору, к часовне Параскевы Пятницы. Здесь братья опять обнялись, и Василий Матвеевич, пожимая Марку руку, посоветовал ему нанести визит окружному начальнику, князю Кострову, в Минусинске, человеку умному, образованному, историку и этнографу, окончившему юридический факультет Московского университета и оказавшемуся в Сибири по не зависящим от него обстоятельствам.

— Князь Николай Алексеевич — удивительная личность, — сказал сотник, — мы недавно познакомились. Бездна знаний, масса впечатлений, наблюдений, рассказов!.. Кстати, почти наш ровесник. Настоятельно рекомендую! Он тебе про всё расскажет: и про Таштып, и про Минусинск, и про здешних татар, коли интерес возникнет...

2.

Наталья Афанасьевна Сурикова умерла двадцатого мая 1852 года. Так всё и произошло, как предсказал блаженный Феодор Кузьмич в тот заснеженный октябрьский вечер, святой образ которого одна только она, старая казачка, и увидела через окно. Старец был в длинной белой рубахе, перехваченной в талии пояском, — точно такой же, каким она

узнала его ещё раньше, на богомолье. Он сказал ей: «Зиму переживёшь!» — и этой зимы хватило, чтобы достойно подготовиться к смерти. Она умерла в день памяти святого Фалалея — врача Алексия, митрополита московского. Накануне исповедалась и причастилась.

В России установлены церковью поминальные дни покойника: третий, шестой, девятый, двадцатый и сороковой. Отсчёт ведётся с точной даты смерти, записанной в синодик. И все эти дни положено отмечать. «Бог не попустил ничему быть в церкви своей неблагопотребному и бесполезному, но устроил в ней небесные и земные таинства и повелел совершать их», — говорится в уставе православного богослужения. Но в Сибири отмечают лишь третины, девятины и сороковины.

На девятый день — к девятинам, когда в продолжение шести дней душа Натальи Афанасьевны созерцала радости праведных, а потом вознесли её ангелы снова на поклонение Богу, — неожиданно приехал в Красноярск зауряд-хорунжий Марк Суриков. Всё-таки вызвал его полковой атаман Александр Степанович личной депешей — не на похороны, а раньше, когда старуха ещё была жива, — чтобы сын простился с матерью. Но то ли почта по дороге застряла, то ли ещё какая задержка случилась, только Марк не поспел даже на похороны.

На девятины сошлись только самые близкие покойной. Марк приехал как раз вовремя.

— Как только я получил депешу, так сразу и выехал, назначил за себя командовать сотней старшего урядника Тита Чанчикова, — рассказывал он. — До Минусинска скакал, чуть лошадей не запалил, оставил их у князя Кострова. От Минусинска до Усть-Абаканска сам князь доставил меня в своём экипаже. Там пришлось ждать, пока сплотят плот люди купца Ананьина. Енисей-батюшка домчал меня до Красноярска, да вот… не успел я!

На кладбище он встал на колени перед могилой, перекрестился и заплакал.

— Прости меня, матушка родимая, что не смог проводить тебя в последний твой путь!..

Потом он долго кашлял, катаясь по земле. И когда наконец успокоился, встал, отряхнулся, вид его был жалок: лицо сухое, бледное, с синюшным оттенком, щёки ввалились, карие глаза болезненно блестели. «Как он постарел, несчастный мальчик!» — подумала Прасковья, разглядывая деверя. И вправду, за этот год Марк сильно изменился и в свои двадцать три года выглядел на все тридцать: в чёрных усах и на висках просверкивала на солнце ранняя седина, под глазами набухли серые мешки, на высоком лбу просеклись тёмные морщины.

— Ничего, брат, ничего, крепись, — неопределённо пробормотал Иван Васильевич, наливая в стаканы водку.

Прасковья вынула из корзинки закуску: солёные огурцы, блины, кутью в чашечке и кисель в бутылке, несколько ломтей чёрного хлеба.

Братья выпили, пожелав покойной матери царства небесного, Прасковья лишь помочила губы. Остатки вылили на могильный холмик, на котором уже начала пробиваться трава. Прасковья достала блюдечко, положила в него ложку кутьи и три блина, поскольку Бог троицу любит, и пристроила его под крестом на разровненном ею пятачке земли. Иван Васильевич поставил рядом стакан с водкой, сверху накрыл куском хлеба — это чтобы душа покойницы, которая всё ещё витает где-то рядом, видела, что её помнят, и чтобы какой-нибудь бродяга выпил бы за помин этой души.

От спиртного Марк ожил, повеселел и стал рассказывать, как ему хорошо там, в Таштыпе, служится, и он бесконечно благодарен дядюшке Александру Степановичу, пославшему его туда. Рассказывая, он то и дело повторял: «У нас в Таштыпе» или «А у нас в Таштыпе», — как если бы там родился, вырос и вот после долгой разлуки воротился назад.

— У нас в Таштыпе великолепная кедровая тайга, — мечтательно говорил Марк, отщипывая от блина маленькие кусочки и бросая их в рот. — Заготавливаем орехи, масло сбиваем — дело выгодное и для нашей сотни, и для полковой казны. Нынче пойдём на Саяны, к пограничному знаку, и товар с собою берём на продажу иноземцам. Любят они наше масло. А в кедрачах в изобилии — белка, изюбр, косуля и другие звери, есть и боровая дичь. Можно и капитал нажить. Только не ленись.

— Ну а со здоровьем-то у тебя как? — поинтересовался Иван Васильевич, обеспокоенный худобой брата, его тяжёлым, изнуряющим кашлем.

— А что здоровье! Вот выпью — и вроде как полегчает. У нас в Таштыпе один только воздух чего стоит! Там почему-то мне легче дышится.

— Живёшь-то как?

— Хорошо живу, весело. С казаками лажу, татары меня любят. Ни в чём не стеснён пока. Первое время скучно было, а сейчас привык. Так что на жизнь я не жалуюсь, брат!

— И татарочки, поди, там есть славные? — вставила Прасковья.

— Есть, конечно, — засмущался Марк.

— А станица-то большая?

— Как вам сказать? Таштып — это казачий форпост, а станицей он стал именоваться совсем недавно…

Для Ивана Васильевича это сообщение не было новостью: в Казённую палату пришла бумага из Иркутска, и он, коллежский регистратор, одним из первых с нею ознакомился. Приказом генерал-губернатора Восточной Сибири, говорилось в той бумаге, бывшие казачьи форпосты станичных казаков Шадатский и Кибежский

переименованы в казачьи станицы Каратузскую и Суетукскую. Документ подписан генерал-лейтенантом Н. Н. Муравьёвым двадцать третьего марта 1852 года. А тремя днями позже другая бумага предписывала: бывшие казачьи форпосты станичных казаков Таштыпский и Саянский впредь именовать казачьими станицами Таштыпской и Саянской. Реформирование Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв начал с укрупнения и усиления казачьих полков «на случай могущих встретиться при занятии Амура надобностей». На Амур же были выведены губернские пехотные батальоны.

Ещё в прошлом году, по получении в Сибири «Положения об Иркутском и Енисейском казачьих конных полках», утверждённого четвёртого января, муравьёвская реформа действовала уже вовсю. Для усиления, например, Енисейского казачьего полка были опрошены крестьяне «заранее намеченных местностей, не пожелают ли они перечислиться из государственных крестьян в казаки». После некоторого колебания деревни Дрокина, Торгошина, Базаиха, Мининская, Бугачёвская, Солонцы, Еловка, расположенные в Красноярском округе, изъявили своё согласие и были перечислены в военное ведомство — в Енисейское казачье войско, управление которым сосредоточено было в городе Красноярске. Здесь же располагалась и первая сотня полка. В казаки была также обращена и часть городских мещан. Красноярская станица имела в своём составе сто шестьдесят дворов с населением триста семьдесят девять душ мужского и двести семьдесят душ женского пола…

— За четыре года управления Восточной Сибирью генерал-губернатор Муравьёв сделал немало,— сказал Марк.

— Да, размахнулся наш генерал-губернатор! — прибавил Иван Васильевич.— Умная голова! Это же надо: тихо, мирно — и мещан в казаки! А крестьянам, понятное дело, было не по вкусу, но ведь согласились же! Гениальная голова!

И дома, за столом, во время поминовения, выпив водки, Марк опять плакал и говорил, что без матушки он вовсе теперь сирота и что сам он долго, наверное, не протянет: один татарский шаман посмотрел на него и сказал, что жить ему осталось четыре года.

— Вздор! Всё вздор! — вспыхнул Иван Васильевич.— Ни один шаман и никакая гадалка не могут знать, сколько лет жизни нам Богом отпущено! И думать об этом, дурак, не смей, понял?

— Прости, брат! — Марк вытер слёзы, улыбнулся, пряча глаза.

В Красноярске Марк пробыл три дня. И все эти дни дети не отходили от него ни на шаг, прося дядю то почитать книжку, то покачать на ноге, то покатать на жеребце Карке.

Только Лиза оставалась грустна и смотрела на их ребяческие шалости со стороны печальными глазами. Потеряв бабушку, видно, и она, как дядя Марк, ещё сильнее почувствовала себя одинокой.

Катя и Вася своими играми, капризами, шалостями, на которые была так богата их детская фантазия, немного отвлекли Марка от грустных мыслей, и он по-прежнему шутил, даже бывал остроумен. Однако Прасковья, отвыкшая от его грубоватых острот, чаще всего обижалась и как-то даже оскорбилась, когда деверь назвал её потомком Чингисхана.

— Да чё ж ты, батюшко Марко Василич, выдумываешь-то? — сердито выговорила она ему своё несогласие.— Пошто ж это мы от нехристей-то, всяких там немытых туземцев произошли? Такого не может быть!

— Я и не говорю — от нехристей, а всё же… непременно чужая кровь примешалась. Вот матушка сказывала…

— Не надо покойницу поминать всуе, душа её ещё над нами летат, всё слышит.

Марк умолк, замкнулся в себе и больше не заговаривал на эту тему.

Перед отъездом в свою сотню он ещё раз побывал на кладбище, попрощался с дорогой могилкой матери, потом сходил в полковую канцелярию: отметил командировочное предписание, получил новенькое офицерское обмундирование, выложив за него кругленькую сумму.

Новая форма казачьей одежды, утверждённая положением 1851 года, очень Марку понравилась, особенно чекмень с чешуйчатыми эполетами на плечах, пристёгнутыми белой металлической пуговицей. Эти парадные эполеты с вензелем «Е. П.», красным просветом на серебряном поле и двумя звёздочками сразу же казаки в шутку прозвали «ватрушками», они и впрямь походили на домашнюю сдобную булку.

Шитый из тёмно-зелёного сукна чекмень, с красным воротником и тёмно-зелёными обшлагами, застёгивающийся изнутри металлическими крючками, плотно облегал стройную фигуру молодого офицера и даже по длине оказался впору — не доставал до колен ровно пять вершков, как и указано в положении… Чекмень был снабжён двумя патронниками на груди, слева и справа, по типу кавказских газырей; чёрные, бархатные, с внутренними карманами, они обложены были вокруг широкой серебряной тесьмой; втулки газырей выточены из карельской берёзы, с высеребренными головками, на восемь патронов каждая. Вместо обычного казацкого ремня из чёрной кожи тонкую талию Марка обхватывал пояс из серебряной тесьмы, подшитый чёрным сафьяном, с серебряными же — двойной и малой — пряжками, наконечником и гайкой, а через плечо перекинута

портупея, и тоже из серебряной тесьмы, без просвета, и также подбитая чёрным сафьяном.

Серого сукна шаровары, с кожаными стременами и красной выпушкой, заправлялись в блестящие хромовые сапоги с железными шпорами; сапоги хрустко поскрипывали, шпоры сочно позвякивали, издавая тонкий звон, и было видно, что Марку это нравилось. Обязательным приложением к сапогам выдавались и полусапожки, носимые с шароварами навыпуск.

К форме полагались чёрный шёлковый галстух, белые замшевые перчатки, обыкновенный кавалерийский темляк, чушка для вкладывания пистолета, сшитая из чёрного сафьяна, с двумя ушками, со строчкой по краям, и сам пистолет—огнестрельное оружие, употребляемое в кавалерии; чушка с пистолетом крепится слева на поясе, там же, где и казачья шашка.

Оглядев себя в зеркало, хорошо ли подогнаны чекмень и шаровары, Марк похвалил Прасковью и Лизу, что постарались на славу, и стал примерять шинель.

Офицерского покроя шинель, серого сукна, с таковым же серым воротником и красными на нём клапанами, застёгивалась на белые гладкие металлические пуговицы, ярко блестевшие на солнце. Марк подвигал плечами, сделал руками движения, будто машет шашкой,—нет, не стесняет, не сковывает шинель,—и остался доволен. Надев шапку и чуть сдвинув её к правой брови, он придирчиво всмотрелся в зеркало, в собственное отображение. Шапка тоже была особенная: из красного сукна, верх круглый, стёганый на вате, обложен вокруг широкой серебряной тесьмой и переложен четырьмя полосами узкой—серебряной же—тесьмы. Околыш казацкой шапки—из чёрной мерлушки, подбородник—из чёрного кожаного ремня.

Сняв шинель и шапку, Марк примерил фуражку. Сшитая из тёмно-зелёного сукна, с красным околышем и красной выпушкой поверху, с чёрным блестящим козырьком, она сидела на голове плотно и немного сдавливала надбровные дуги—ну да ничего, обносится.

Похрустывая сапогами, Марк прошёлся по комнате, испытывая некоторую неловкость от ещё не обмятого обмундирования, и, придерживая шашку, сделал несколько строевых приёмов—чётко, по-уставному, повернулся через левое плечо, пристукнул каблуками, отозвавшимися мелодичным звоном шпор, и, печатая шаг, направился к выходу.

— Чисто генерал!—похвалила Прасковья.

— Это вам не голубые мундиры жандармов! Не полиция со стоячим красным воротником! Казачья форма—лучшая из всех! Это вам не солдат—кислая амуниция!—прихвастнул Марк, а про себя тоскливо подумал: вот посмотрела бы на него сейчас родимая матушка!..

Уезжая, он попрощался с каждым домочадцем в отдельности: обнял брата, поцеловал в щёчку его жену, поцеловал протянутую руку Лизе, отчего она смутилась и покраснела, взял на руки Катю и пощекотал её усами. Васю он отыскал наверху, в комнате постояльцев: тот сидел на полу и что-то рисовал на клочке серой бумаги. Марк опустился рядом на корточки и в неумелом детском рисунке сразу узнал то, что отдалённо напоминало скачущего коня, а на нём—казака с пикой в одной руке и саблей в другой. И этот рисунок, и это поведение мальчика, уединившегося в своём творческом порыве, растрогали Марка до слёз. Он сгрёб Васю в охапку и, задыхаясь от волнения, от болезненной стеснённости в груди, от любви к этому тёплому родному существу, дрожащим голосом произнёс:

— Рисуй, рисуй, милый ты мой казачок! В другой раз я тебе карандаши и бумагу привезу.

— Дядя, это я тебе нарисовал. На память,—сказал мальчик, польщённый похвалой.

Он уже говорил чисто, не присусыкивал, как, бывало, посмеивалась над ним Лиза, поддразнивая: «Зелебёнок с колокольцыком!» Но вот оканье, на которое раньше никто не обращал внимания, осталось как отголосок далёкого-далёкого родства с первыми завоевателями Сибири.

— А ты когда приедешь, дядя?—спросил он, обнимая Марка.

— Не знаю, Вася, но я напишу тебе письмо…

— Я ещё читать не умею.

— Научишься. Лиза тебя научит, она грамотная.

— А когда бабушка вернётся?

Марк опешил.

— Она не вернётся, Вася, она умерла.

— Совсем-совсем?

— Совсем-совсем. Тело её закопали в землю, а душа осталась; она с Богом сейчас разговаривает. Вот они поговорят, и Бог решит, куда бабушкину душу отправить—в ад или в рай.

— Рай—это на небе, я знаю, туда все хотят, там сады, реки и всегда лето! Там все святые собрались и живут припеваючи…

— В сороковой день Божий судия и определит ей место в раю. Там хорошо ей будет, Вася!..

3.

Из города Минусинска в Таштыпскую казачью станицу ведёт земский тракт. Он идёт правым берегом Енисея через сёла Лугавское, Шушенское, Каптыревское, пересекает реку у форпоста Означенный и оттуда степью через село Бейское направляется к Таштыпу. Это последняя казачья станица в Минусинском округе. До китайской границы всего двести вёрст.

Чтобы видеть все прелести дикой природы этого райского уголка Сибири, нужно ездить по тракту летом, а потом—золотистой осенью, а ещё лучше—весной, когда всё кругом цветёт

и благоухает. Известный золотопромышленник Николай Васильевич Латкин тоже восхитился однажды. «Благодатные степи,—писал он,—покрыты роскошною растительностью, благоухающими цветами и питательными травами, представляющими превосходный корм для многочисленных стад проживающих здесь оседло или отчасти кочующих минусинских татар. Кроме того, степи эти покрыты местами солончаками, горько-солёными и солёными озёрами».

— Господин Латкин — молодой человек, ему едва ли за двадцать,— вознамерился описать наш округ, я читал его рукопись,— говорил князь Костров своему спутнику, казачьему офицеру, ехавшему из Красноярска в Таштып, к месту своей службы.— В отличие от Степанова, автора известной книги, всё-таки скупо отзывается об этих местах начинающий краевед. Конечно, он был наездом тут, многого и не видел. А я здесь уже несколько лет чиновником. Как приехал после окончания курса юридического факультета в Московском университете, так и служу по административной части, и мне обидно читать и слышать дилетантские рассуждения. И решил я составить обширную статью, в которой бы отразились русская и туземная этнография, статистика, история, экономика, география Минусинского края. Вот езжу, мотаюсь по улусам как учёный-этнограф и как окружной начальник. Меня тут все инородцы знают, а я знаю их. Даже язык выучил. Не совсем, правда, хорошо, но довольно сносно могу общаться. Не возражаешь, Марк, если я провезу тебя по улусам, заскочим и в Абаканскую инородческую управу?..

— Отчего же? Пожалуйста! Ты хозяин, а я твой гость,— сказал Марк Суриков, поёживаясь.— Только чертовски холодно в твоей кибитке.

— В доме управы отогреемся!

Зауряд-хорунжий Марк Васильевич Суриков, отбыв наказание на гарнизонной гауптвахте с исполнением обязанностей караульного начальника, возвращался в Таштыпскую станицу, где он командовал стоявшей здесь пятой сотней Енисейского казачьего конного полка.

День быстро угасал. Пасмурное небо нахмурилось, и вскоре густыми хлопьями повалил снег. «Удивительно, март — месяц весенний, а здесь вовсю хозяйничает февраль»,— подумал Марк, привычно кутаясь в воротник шинели. И, как бы подслушав его мысли, князь кивнул на залепленное снегом окошечко:

— И снег, и метели, и ураганные ветры здесь, в Абаканской степи, явление обычное…

Абаканская инородческая управа находилась в ста верстах от Минусинска — это зимним путём, и хорошо, что нынче выпало много снега, а то пришлось бы ехать на колёсах.

Сначала зимник шёл протокою Енисея, где стоит Минусинск, но в пяти верстах от него повернул в самое русло Енисея, закованного в ледяной панцирь. Правый берег могучей реки нависает громадной каменной стеной, засыпанной снегом, левый более полог и лесист. Проехали Синий камень — самый высокий зубец этой стены, миновали острова при впадении в Енисей реки Абакан, и наконец мелькнул впереди огонёк из окна домика Абаканской инородческой управы.

— За что тебя наказали, Марк? — князь повернулся к молчаливому спутнику, то и дело покашливающему в кулак.— Ты меня извини, можешь не отвечать, если не хочешь, а спрашиваю так, по привычке: от природы я очень любопытный. Езжу повсюду и всех расспрашиваю…

С минусинским окружным начальником Николаем Алексеевичем Костровым Суриков познакомился в тот год, когда был назначен в Таштып командовать сотней. Князь тогда ещё служил земским заседателем. Несмотря на разницу в возрасте в шесть лет, они как-то сразу сошлись, подружились, и с тех пор Марк, едучи через Минусинск, останавливался в доме Костровых. Ему нравилась эта скромная семья своей приветливостью, открытостью, честностью, граничащей с простецкой наивностью, отчего и сам хозяин, и его супруга, бывало, попадали в неловкое положение.

Жена князя — дочь управляющего Петергофским дворцовым правлением, артиллерии подполковника Фёдора Андреевича Бердяева, Маша,— была миловидной и умной женщиной, хорошего воспитания и изысканных манер. Она была на год старше мужа, однако выглядела почти девочкой, даже беременность не портила её лица. Умение со вкусом одеваться, носить причёску, высоко держать голову, любезно раскланиваться, заразительно смеяться, изображать — когда надо — удивление, испуг, радость, восторг или печаль,— всё это делало её неподражаемой. По-разному относились к Марье Фёдоровне минусинские обыватели: одни считали её ветреной, другие — ещё не созревшей для супружества, третьи — кокеткой, место которой в заведении для девиц лёгкого поведения. А муж в ней души не чаял, говорил, что досталась она ему «с большим боем» и что он, князь с ничтожным чином губернского секретаря, всё же повёл её под венец. Венчание состоялось в Спасском соборе города Канска, где в то время служил Костров, и поручителем по невесте был её родной брат, окружной стряпчий коллежский регистратор Сергей Бердяев.

В том же сорок шестом году, в ноябре, молодожёны переехали в Минусинск, к новому месту службы князя Николая Алексеевича. И тут они узнали, что вдова покойного декабриста Мозгалевского Авдотья Ларионовна сильно бедствует с семерыми детьми одна и уже готова пойти на любую крайность. Друзья-декабристы не оставили безутешную вдову без внимания: шестилетнюю

Поленьку[4] взял к себе на воспитание декабрист Басаргин, а восьмилетнюю Леночку[5], девочку энергичную и смышлёную,— супруги Костровы, у которых к тому времени уже была своя дочь Варенька. Остальные дети-сироты — Павел, Валентин, Прасковья, Александр и Виктор — оставались при матери, получающей хоть и мизерное, но всё же пособие из кассы взаимопомощи, организованной декабристами ещё в Петровском Заводе.

— В хорошее летнее время встречаются по дороге такие ландшафты — это надо видеть! — князь Костров посмотрел на Марка.— Что молчишь, хорунжий?

— Думаю.

— О чём же твои думы?

— Как ответить, за что меня наказал командир полка.

— Ну и за что же?

Марк переменил позу, передёрнулся, сгоняя вползший под шинель озноб, надвинул на уши папаху.

— Я и сам не знаю за что,— ответил он мрачно.— Придирается. При дядюшкином атаманстве я был примерным офицером, при Мазаровиче рожей не вышел. В приказах пишет: «…замечен мною в медленном исполнении своей обязанности…» — или: «…продолжал быть неисполнительным…». И всякий раз — арест, гауптвахта. В последнем полученном мною списке с приказа велено было приехать «на собственный свой счёт» в Красноярск, где был арестован и посажен. Я уж эти приказы наизусть выучил! — Марк сухо покашлял, потом тихо рассмеялся.— Вот хотя бы самый свеженький. Казак Байкалов наряжен был дежурным по полку и по моему приказанию принял под арест младшего писаря полкового управления урядника Терентьева. Мазаровичу об этом не доложил — то ли забыл, то ли на меня понадеялся, за что и предписано было сотнику Переслени наказать Байкалова розгами.

— Ну и?

— Байкалов получил пятьдесят ударов, а я отделался строгим выговором.

Первую от Минусинска станцию они одолели быстро, менее чем за час.

В доме Абаканской инородческой управы несколько чистых комнат — и светлых, и тёмных — просто роскошь в степи. Князь пытался объяснить:

— Несколько лет тому назад здесь сосредоточивалось управление татар Качинского родоначалия под названием Качинской степной думы. Но так как качинцы кочуют на огромнейшем пространстве между Абаканом и Юсом, то признано удобным вместо одной думы учредить две инородческие управы: одна — Абаканская, другая — Юсская, на реке Юсе.

В доме шло общественное собрание, на полу сидело около пятидесяти инородцев, и никто на приезжих не обратил внимания. Спорили. Шумели. Курили табак.

— Толкуют о разных предметах, а по окончании, конечно, все порядком погуляют,— сказал князь, посмеиваясь.— Ну, отогрелся? Поехали. Наш путь — к Сагайской думе, Марк!

Ехали вдоль левого берега Абакана. По льду здесь никто не ездит — река сплошь зияет полыньями.

— «Абакан» по-русски — «медвежья кровь»,— пояснил князь.— У татар есть предание, что в этой реке утонул богатырь по имени Абакан, знаменитый истребитель медведей. Река состоит из Большого и Малого Абаканов, первый вытекает из болот близ Телецкого озера на восточном склоне Алтайских гор, называемых в том месте Горбусскими, а второй — из острогов Саянского хребта, близ китайской границы. Если бы какой даровитый художник решился пробраться в эти безлюдные места, соседние с истоками Абаканов, можно сказать наверное, что он не раскаялся бы. По крайней мере, известный английский пейзажист Аткинсон уверял, что ему редко где приходилось видеть подобные места, несмотря на многочисленные его путешествия. Здесь можно встретить всё то, чем мы привыкли любоваться в швейцарских ландшафтах: и покрытые снегом горы, и зелёные, испещрённые цветами долины, и бурные водопады, и зеркальные, неподвижные озёра… Всё это величественно и грандиозно!

Татарин-ямщик, умеющий скакать на лошади только верхом, и причём без седла, неуклюже впрыгнул на козлы зимней кибитки. Сел по-турецки, поджав под себя ноги, крикнул: «Гайда»,— и понеслись кони во весь опор, обдавая его облаками снежной пыли.

Дом Абаканской инородческой управы потонул в снежной замети, а вскоре и вовсе исчез из виду.

При двадцатиградусном морозе вся эта обширная степь казалась без предела белой. Даже горы, окружающие степь со всех сторон и цветущие летом, были окутаны туманом. Лишь левее синела гора Изых, у подошвы которой в Абакан впадает первый её приток — Уйбат, а направо, вдалеке,— Кунь и Оглахты…

— Признаюсь, ничего нельзя себе представить скучнее и однообразнее этой дороги,— признался князь.— Хорошо, что снег здесь — редкость. Зато ветры — постоянно, всё сдувают. Почти всю зиму ездим на колёсах.

Пересекли приток Абакана Уйбат. Князь сказал, пересекли именно в том же месте, где более ста лет назад проехал путешественник Гмелин.

……

4. Поленька стала женой Н. И. Менделеева, старшего брата будущего учёного Д. И. Менделеева.

5. Леночка выйдет замуж за обер-аудитора 4-го драгунского дивизиона Симанского.

Проехав по южному берегу речки, углубились в широкую степь с многочисленными старинными могильниками, миновали стоячий камень, называемый татарами «Медвежий идол»,— грубо высеченный медведь, сидящий на задних лапах, в аршин высотою.

Ехали зимними улусами, почти все они жались к Абакану. Некоторые отступили в сторонку.

То там, то здесь виднелись купы кустарников. Изредка вздымались могильные курганы с ограждающими их камнями. Вдали, отпущенные на подножный корм, бродили лошади и рогатый скот.

В одном из улусов переменили лошадей. Этот улус ничем не отличался от других: несколько зимников, разбросанных как попало, несколько берестяных юрт, и всё это огорожено жердями, полузасыпано навозом. Издали походит на бедную русскую деревушку. У богатых татар в таких улусах имеются добротные дома, куда они перебираются на зиму; бедные же, несмотря на холода, постоянно живут в юртах.

Пока переменяли лошадей, окружной начальник и казачий офицер вошли в татарский зимник погреться. Это была обыкновенная изба без крыши, с узкими лавками вдоль стен, заваленными разнообразной конской сбруей, и с двумя узенькими оконцами, затянутыми бычьим пузырём. Пол в избе деревянный. Направо от входа ярко пылал чувал — печь, что-то вроде камина,— из глины, с трубою. Этот чувал топится день и ночь и угасает разве только тогда, когда все крепко уснут и некому будет подложить дров. От чувала, заметил князь Костров, нет ни малейшего дыма. Зимники можно даже сравнить с курными избами великорусских губерний, но здесь не всегда можно встретить скот, как там, в курных избах крестьян.

Подле чувала сидели две смуглые татарки, облитые пляшущим отсветом огня. Одной — лет сорок пять, другой — около девятнадцати. Одеты они в простые овчинные тулупы с небольшими отложными воротниками и обшлагами из чёрной овчины. Полы и подолы были опушены мехом, но теперь отпороты напрочь. Книзу подол суживался, образуя оборку, падающую в складках. По замечанию князя, эта оборка, а равно и обшлага и воротник, богатые татарки обшивают «чем-то узорчатым, вроде какой-то ковровой ткани». Волосы пожилой татарки были разделены на две пряди и заплетены в две косы, как у русских женщин; голова повязана ситцевым платком, концы которого стянуты на затылке в узел; обе косы чёрными витыми плетьми опускались по плечам на спину. Девочка была в шапочке из алого бархата, отороченной мехом выдры. Волосы разделены на несколько прядей и заплетены в мелкие тонкие косы — по шести с каждой стороны. В ушах у обеих женщин сверкали серьги из дешёвенького серебра.

— Эзень! — поздоровался князь по-татарски.

Женщины слегка кивнули головами.

— Канди синь чуртанчи дырзан?[6] — обратился князь к старшей.

Та пристально посмотрела на него, потом всем корпусом подалась к чувалу и стала молча помешивать в огромном чугуне большой деревянной ложкой.

Князь достал табак и взялся набивать трубку. Девушка вскочила, выхватила из чувала уголёк и подала ему — прикурить.

— И много у тебя детей, таких, как эта красавица? — спросил князь по-русски, обращаясь к старухе, а сам поглядывал на зардевшуюся от смущения девушку.

— Конь бар![7] — неожиданно и довольно громко ответила старая татарка, указав рукою на дверь, за которой послышались крики, гам, лай собак, ржанье лошадей.

В зимник вошли, и не вошли даже — втолкнулись один за другим несколько мужчин.

Между тем, попыхивая трубкой, князь говорил Марку:

— Здешний татарин — лихой наездник не только трезвый, но даже мертвецки пьяный; он так крепко сидит в седле, что редкая лошадь собьёт его. Но что до кучерского искусства, то здесь он никуда не годен. Он едва в состоянии запрячь лошадей, а уж об управлении ими лучше и не говорить. Сбруя у него самая древняя, верёвочная, десять раз порвётся, пока доедет от одной станции до другой в десять вёрст. Нет у него даже кнута, чтобы иногда подогнать лошадей; он заменяет его обыкновенно талиновым прутом. Кучерское искусство у здешнего татарина находится ещё в «младенческом» состоянии…

Наконец вошёл сам хозяин, татарин лет пятидесяти, следом за ним — четыре его сына, женатых, имеющих каждый по своему зимнику.

Хозяин кое-как говорил по-русски. На вопрос князя, почему он не отдаёт свою дочь замуж, охотно ответил:

— Года, сударь, ваша светлость, не вышла!

— Сколько же ей лет?

— Лет двадцать будет, а то и не будет. У тебя ребятишка есть?

— Есть.

— О, спасибо, спасибо! — неожиданно рассыпался в благодарностях старый татарин.— И парнишка есть?

— Дочка. А парнишка будет скоро.

— Вот спасибо! Вот спасибо! — татарин с благодарностью пожал князю руку.— Парнишка — это шибко хорошо! Давай парнишку!

— Чего это он радуется? — тихо спросил князя Марк.

……

6. Как ты поживаешь? *(татар.)*.

7. Много есть! *(татар.)*.

— Забота о продолжении рода…

Вошёл ещё один человек, сообщил, что лошади для «его высокоблагородия» готовы, ямщик — тоже.

Новый ямщик, должно быть, из бедняков — одет в женский тулуп, отметил князь, умащиваясь поудобней на кошме рядом с Марком.

— Должен заметить, — сказал он вслух, — что мужчины-татары носят зимою обыкновенно русский тулуп, только с клапанами на груди. И пошив женский.

— Почему же грудь открыта?

— Думаешь, простудится? Не волнуйся, татарин и зимой спит в юрте почти голый. Заиндевеет спина — повернётся к огню, и все дела. И ездит часто в самую холодную пору без шапки. Да и зачем она ему? У него до плеч густые волосы — тоже шапка! Только ноги свои он бережёт, он постоянно носит унты. «Унты» по-татарски — «маймак». А ямщик наш — бедняк. Работник, нанятый хозяином за неизвестную плату и на неизвестное время. Я спрашивал — живёт на хлебах.

И опять они ехали степью, засыпанной снегом. И опять проплывали мимо татарские зимники, голые кустарники, пасущийся вдали скот. И курганы, курганы, курганы…

«И скучно, и грустно…» — усмехнулся Марк.

Почему-то вспомнились именно эти печальные строки Лермонтова, с которым лично общался на Кавказе брат Марка, казачий сотник Иван Суриков, сопроводивший в действующую армию против горцев декабриста Мозгана, зачисленного рядовым стрелком. Впрочем, и Мозган был убит в бою, и Суриков умер от горячки, а поэт пал от руки своего же, русского, убийцы, и оба они — и убитый, и убийца — были хорошими друзьями.

«И всё же Лермонтов оставил потомкам свои удивительные стихи, которые будут читать и через пятьдесят, и через сто лет. Но вспомнит ли кто меня, казачьего офицера, когда умру? Я знаю, что умру скоро. Я больной, конченый человек… Старший полковой фельдшер Смелянский сказал: это чахотка… Лечиться надо. Высокогорный воздух нужен… И он был прав, этот симпатичный сухопарый доктор. В Таштыпе мне легче дышится — воздух сухой и чистый; дядюшка знал, куда меня послать. Человечный был Александр Степанович, царство ему небесное. Он спасал меня. А Мазарович убьёт…»

— Слышь, хорунжий, — князь толкнул Марка плечом, — когда мы ночевали в Абаканской управе, встретился мне там богач здешних степей Чирка Картин. Ты узнал его?

— Узнал, да он меня не хотел узнать.

— Немудрено! За те четыре года… с тех пор, когда мы у него коня выбирали, ты сильно изменился, Марк. Высох, как щепка, щёки ввалились, одни усы остались те же. Но усы, дорогой хорунжий, не являются особой приметой… А меня татары по колокольчику узнают, — похвастался князь. — Еду во-он ещё где, а они перед улусом стоят. Ждут…

— Что-то я этого не заметил, — с иронией произнёс Марк.

— Лошади-то почтовые! На каждой станции к дуге привешивают свой колокольчик, по нему знают: почта едет — значит, готовь подставу. А у меня особый колокольчик! Часто я на своих лошадях езжу, так татары издали чуют: окружного начальника чёрт несёт!.. Ха-ха-ха!.. Так вот этот Картин взял с меня слово, что я непременно побываю у него.

— Что ж, посмотрим ещё раз на его степное богатство, — сказал Марк. — Да и Соловому копыта обмыть надо бы…

За несколько вёрст до улуса Чирки Картина в степи стали попадаться стога сена, огороженные пряслом из жердей.

— А ведь ещё совсем недавно, — сказал князь, — татары нисколько не заботились о заготовлении на зиму корма для скота и лошадей. Это уже прогресс! Картин пробует перенимать всё лучшее у русских крестьян. И всё равно у татар случаются частые падежи и лошадей, и крупного рогатого скота…

В своей тетрадке князь Костров записал:

«Когда-то качинские татары щеголяли своим скотоводством… Скотоводство, единственное, можно сказать, богатство здешних татар, пришло у них в некоторый упадок сравнительно с прежними годами, не потому, что они весь скот свой распродали на золотые промысла, — от частых падежей. А эти падежи, кроме эпидемий, весьма часто бывают оттого, что татары, по лености и беспечности, мало заготовляют сена для скота на зиму, и в этом отношении они стали несколько заботливее только с недавнего времени. Не имея достаточно корму, они постоянно пускали весь скот, на всю зиму, на подножный корм. Если зима случалась холодна, а снега глубоки, то падёж был совершенно неизбежен. Чтобы показать, как велики бывали иногда падежи скота, достаточно упомянуть, например, о 1826-м и 1828 гг.: в это время у одних качинцев пало, по их собственному показанию, до 26 тыс. одного рогатого скота».

«Картины — их два брата — первые богачи не только среди качинцев, но и среди татар других племён Минусинского округа. В самый пик развития здешней золотопромышленности их дед и отец очень выгодно торговали скотом, оставили после себя „значительные деньги“. Нынешние Картины изо всех сил стараются приумножить унаследованное богатство. Имеют около 3 тысяч голов рогатого скота и более 5 тысяч лошадей. Распахивают свыше 20 десятин пашни. На зиму заготовляют корма для своих стад и табунов».

«Дом у Картиных такой, каким не погнушался бы иной помещик из России. Подле дома огромнейшие, хотя и худо сделанные, навесы и стойла

для лошадей и рогатого скота. Все строения занимают пространство около десятины. Вокруг них дощатый забор с двумя воротами друг против друга. Но какая нечистота вокруг! Десятки тысяч возов навоза, который в России принёс бы несомненные деньги, здесь гниют и только портят воздух. Внутренность дома также не может похвалиться чистотою. Полы, кажется, не мыты с незапамятных времён; пыль на окнах и на стульях в полпальца толщиною… В этом доме Картины живут только зиму, а лето, как и все другие татары, кочуют по степи в двух огромных юртах. Теперь эти юрты стоят на дворе, хотя в них никто не жил».

— Так… делаю заметки для статьи,— на удивлённые взгляды Марка ответил князь, пряча тетрадку в карман шинели.

— Мой двоюродный брат Василий, сотник, адъютант командира полка, тоже всё записывает, а потом у него стихи получаются,— сказал Марк.

— Стихов я не пишу.

— А я рисовать люблю. Акварелью. Маслом не пробовал. Да у нас в родове сплошь художники! Хозяиновы, к примеру… Даже племяшек мой, Василий, от горшка два вершка, а уже рисует! Мои старые акварели перекопировал, за иконы принялся. И, однако, недурственно у него выходит! В Хозяиновых пошёл! Может, иконописцем станет…

Вместо Чирки Картина в доме они застали старика-татарина, сильно пьяного, сидевшего на грязном полу перед пылающим зевом чувала. Он держал в руке коротенькую, давно потухшую трубку и, раскачиваясь всем телом, дребезжащим голосом заунывно пел:

Табарги сыпкан таг барба?
Тарыхпин ескен ир барба?
Кызыл кич пачкан кас барба?
Кызылбан ескен кзи барба?

Аба Чарбен таскыл барба?
Аспин кончин ир барба?
Бюрь киспен кель барба?
Белсимин ескен кзи барба?[8]

Появился и сам Чирка Картин, в облике которого «очень много сходного с своими соседями, горными калмыками». И, подобно калмыкам, Чирка стриг свои редкие волосы на бороде, а на затылке заплетал в косу. Он вошёл неожиданно, приветливо улыбался и раскланивался, как китайский божок.

— Затарастуй, ваши плагоротия! Шибко ратый, шибко ратый! Тавно начальника мой дом не хотил… Пошто так, а, ваша светлость?

— Дела, друг мой,— пожал плечами князь.— Служба!

— Тела… тела… Плюнуть нато — и все тела! Шибко опижаешь. Тавай ночевать бутем! Гулять бутем! Хан[9] кушать бутем! Тутпас[10] кушать бутем! Айран[11] пить бутем!

Про старика-татарина, поющего свою бесконечную песню у чувала, Чирка сказал, что он похоронил недавно единственного сына и напился с горя.

«Отец оплакивает единственного сына… А кто будет оплакивать меня?..»

Чирка легонько дотронулся до плеча Марка:

— Пошто затумался, госпотина офицер? Тавай гулять бутем! Горячий тевка обнимать бутем! Хороший тевка есть у меня. Ух какой слаткий тевка!..

«И верно, я, видно, так изменился, что Чирка не узнаёт меня»,— подумал Марк.

Но нет, у Чирки глаз острый, память незамутнённая; он всё прекрасно помнил, вспомнил и этого офицера, с молодым азартом торговавшего у него лошадь. Тогда он был цветущим юношей, живым, горячим, с тёмными сверкающими глазами, точь-в-точь он сам, Чирка Картин, в отрочестве!.. И он не взял с него денег, отдал Солового так — подарил.

Конечно, Чирка узнал Марка. Но что стало с ним?! Почему так исхудал? И кашляет беспрестанно.

Он спросил про Солового, и Марк ответил: конь в исправности, сыт, вычищен, ухожен, стоит в отдельном стойле сотенной конюшни, и пожилой конюший, из шушенских крестьян, записавшихся в казаки, ежедневно делает на нём десятивёрстную пробежку, чтобы не застоялся.

Чирка остался доволен тем, что Марк бережёт коня.

Он опять стал упрашивать гостей остаться у него до утра, однако князь был непреклонен и сказал, что им позарез надо ехать. В конце концов Чирка сдался.

Видя такой дружественный исход, ямщик молча выскочил за дверь, поймал тройку картинских лошадей и запряг их.

Сам Чирка, его брат и какие-то женщины, которых ни князь Костров, ни Марк в доме не видели,

……

8. Есть ли гора, которую не посещала бы кабарга?
Есть ли мужчина, выросший без стеснения?
Есть ли горка, где бы не хаживал красный козёл?
Есть ли человек, выросший без горя?
Есть ли таскыл (гора, покрытая дремучим лесом),
в который не хаживал бы медведь?
Есть ли мужчина, не заблудившийся?
Есть ли озеро, через которое волк не переплывал бы?
Есть ли человек, выросший без разлуки?
(перевод с татар. князя Н. Кострова)

9. Хан — национальное блюдо хакасов, приготовленное из свежей конской крови со специями. Набивают кишки и варят на медленном огне, подают к столу горячим *(татар.)*.

10. Тутпас — хакасское национальное блюдо, схожее по приготовлению с сибирскими пельменями *(татар.)*.

11. Айран — хакасский национальный напиток из квашеного молока, хорошо утоляющий жажду. У хакасов принято айраном встречать гостей. Подают в пиалах или деревянных чашках *(татар.)*.

вышли проводить «их благородия». К кибитке вдруг подбежала девушка-татарка и смущённо протянула князю «тулуп» — мешок с гостинцами; князь наперёд знал: гостеприимный хозяин положил куски варёного мяса, замороженные хан, харту[12], хыйму[13]… Таков обычай у качинцев — не отпускать гостя без гостинца.

…В сорока верстах от улуса Картина путники переехали ничем не примечательный приток Абакана — речку Камышту. Это граница. Здесь кончается кочевье качинцев по Абакану и начинается кочевье сагайского родоначалия.

От первого сагайского улуса до Сагайской степной думы двадцать пять вёрст. Остановились в улусе напиться чаю.

«Сагайцы кочуют по правому берегу р. Абакана, с устья речки Табат до Енисея, потом от речки Аскиз до вершин Абакана. Качинцы кочуют от Енисея до речки Аскыз, по Белому Юсу с его притоками и по Салбе, впадающей в реку Тубу.

…При открытии Енисейской губернии в 1823 г. качинцев насчитывалось 4513 душ мужского пола; по последней ревизии — 4711 душ мужского и 4727 женского пола».

— Начинает темнеть, и поднимается ветер, — сказал князь, пряча тетрадку. — Надо поспешить: пурга в голой степи ночью — вещь очень неприятная.

На другой день утром, переменив лошадей, они отправились дальше — к селу Аскыз, или Аскызскому, как его здесь называют русские.

Здесь особенно часто стали попадаться на глаза древние могильники, слывущие у русских под названием «чудские бугры». Татары приписывают их какому-то народу аккаррак — голубоглазому, светлоокому. А в обыденном разговоре и те, и другие называют эти могильники курганами. Одни курганы рассыпаны преимущественно поблизости рек и озёр — это могильники, другие воздвигнуты в отдалении от воды, по степям и на возвышенности, — это маяки, отмечавшие пути, по которым шли воинственные орды. На некоторых плитах имеются зарубки или черты, как будто бы какие-то знаки, — это тамга, означающая род покойника. Иногда высечены неизвестные письмена. Внутренность могил почти всегда одинакова: деревянный склеп, скелет человека, положенного головой на восток, обожжённые и необожжённые горшки с золой растительного свойства, шлемы, бердыши, копья, стрелы, кинжалы, оправа сёдел, удила, серебряные сосуды, круглые металлические зеркала, бляхи с изображениями животных и людей, подвески, серьги, кольца, разные погремушки…

— У губернатора Степанова было довольно большое собрание подобных вещей, — всё более увлекаясь, рассказывал князь, — но где они находятся теперь, мне неизвестно. Два другие значительные собрания были, как мне помнится, у почётного гражданина Кузнецова и чиновника Титова…

— Некоторые предметы я видел в доме Петра Ивановича, — сказал Марк. — Всё это ему дарили.

— Недавно в музеум Сибирского отделения Русского географического общества наш губернатор Василий Кириллович Падалка доставил весьма замечательную вещь, найденную также в одной из подобных могил. Это было бронзовое изображение одного из божков ламайского верования. Фигурка очень густо позолочена и была вынута из земли мало повреждённой. Член-сотрудник отдела Банзаров и агинский лама Сультим Бадмаев не могли определить название этого изображения. Первый утверждал, что оно, должно быть, занесено во времена отдалённые прямо из Тибета и что, по утратившимся атрибутам, трудно сказать о настоящем имени этого божества…

— Стало быть, ради золотых вещей разрывают могильники?

— Этим промыслом занимались многие. И уже второе столетие роют и роют… Иногда попадается золото. Могильное золото! — подчеркнул князь. — История знает немало примеров. Когда в тысяча семьсот семнадцатом году Красноярск посетил сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин, на серебряном блюде горожане поднесли ему древние вещи — «могильное золото». За такой подарок он выставил двадцать пять вёдер вина: пей, православные! Четыре года спустя царь Пётр повесил его за лихоимство. Древности Пётр передал в известную сибирскую коллекцию и издал указ, чтобы золото из могил, годное на переплав, «покупать настоящею ценою без передачи, а курьёзные вещи, находимые в Сибири, — покупать тоже настоящею ценою, но, не переплавляя, присылать в Бергколлегию и доносить о том государю».

— Выходит, своим указом Пётр Великий разрешил разрывать могилы, нарушать покой древних? — заметил Марк с любопытством и удивлением: как же много Костров знает!..

— Совершенно верно, — согласился с ним князь. — Лет шестьдесят тому назад крестьяне целыми ватагами ходили разрывать могилы в надежде отыскать в них зарытые клады. Понятно, сколько от этого грабежа потеряла наука!..

«…Инородцы здешнего края приписывают эти могилы народу, который был аккаррак, светлоглазый, голубоглазый. Русское население приписывает их чуди, которая в старинных наших песнях почти всегда называется белоглазою. Что это был за народ — неизвестно; но русские предания, сохранившиеся также у инородцев и даже, вероятно, принятые от них, говорят, что это был народ сильный и богатый; вместо лошадей у него были огромные стада верблюдов; вместо

……

12. Харта — толстая кишка коня, из которой хакасы готовят это блюдо *(татар.)*.

13. Хыйма — мясная домашняя колбаса *(татар.)*.

коров — сохатые. Перед путешествием русских в Сибири вдруг стала произрастать берёза, об которой до той поры никто и не слыхивал. Удивлённые белым цветом коры этого дерева, чудаки созвали своих шаманов и стали спрашивать их: что бы это значило? Шаманы отвечали, что появление белого дерева значит то, что скоро придут воины белого царя и покорят их. Чудаки пришли от этого в такой ужас, что вырыли ямы и заживо погребли себя в них…»

«Китайские летописи сообщают, что это были рослые люди европейского облика с рыжими волосами, румяными лицами и голубыми глазами. Чёрные волосы и карие глаза считались у них „нехорошим“ признаком. Народ был грамотным, образованным, о чём говорят предметы, обнаруженные при раскопках, с надписями, выполненными тюркоязычной рунической письменностью, а также на китайском, киданском, тибетском, персидском, арабском и сирийском языках.

В крепостях и специальных поселениях мастера выплавляли железо, медь, олово, свинец, серебро, золото, мышьяк…»

…Стемнело. Ветер усилился, обратился в буран. Слабыми огоньками манило к себе село Аскызское — центр Сагайской степной думы, которая помещалась в здании, построенном по типу дома Абаканской инородческой управы. Так и кажется, что воротился туда и вот-вот выйдет к тебе Чирка Картин…

Здесь путников встретили почти все члены думы: сам родоначальник Иван Сергеевич Чика, два заседателя и другие, одетые в разноцветные халаты. Заслыша колокольчик, они выбежали с фонарём на крыльцо. По всему видать, окружного начальника с казачьим офицером ждали давно.

— Ты смотри-ка, неужели встречают? — удивлённо воскликнул Марк, поёживаясь: его изрядно знобило.

— А как же! — воодушевился князь, привыкший к подобным почестям. — Весть о проезде важного чиновника разносится по степи необычайно скоро. Чёрт знает, как это у них происходит, но вот видишь — осведомлены…

Ветер ярился и ревел всю ночь. На Марка он действовал угнетающе. Казалось, в этом тёплом приюте, где заранее протопили чувал, на мягком войлочном тюфяке и под плотным одеялом, ветер выдувал из его хилого тела горячую кровь.

К утру он уснул — то ли забылся, то ли провалился в беспамятство, а в шесть часов его разбудил князь.

— Мы приглашены к утреннему чаю, — сказал он. — Отказываться здесь не принято.

— К сагайскому родовичу? — спросонок пробормотал Марк.

— Нет, хорунжий! К местному купцу Ананьину. Ни свет ни заря явился Гаврила Мефодьевич самолично, и никакие отговорки не могли уволить нас от приглашения.

Купцы Ананьины — уроженцы Кузнецовской области, но уже и сами не помнят, когда поселились в Аскызе. Начали выгодную для себя торговлю с инородцами и довольно скоро приобрели богатое состояние и уважение татар. Гаврила Мефодьевич построил в селе каменную церковь, украсил её великолепным иконостасом. Ссужал деньгами и товарами односельчан. Почти все сагайцы были его постоянными должниками.

В доме Ананьиных путников ожидали радушный приём и наваристый борщ. Очень старая, но всё ещё бодрая, мать Гаврилы Мефодьевича из каких-то тайных мест извлекла бутылку шампанского. Берегла для особого случая, и вот он, как она поняла, пришёл.

После первого же бокала за столом начались разговоры о золотопромышленности в этих местах, о варварски разграбляемых могильниках, о выгодной торговле с инородцами, о простодушных и честных сагайцах. Вспомнили между прочим и анекдот, ходивший из улуса в улус и как нельзя лучше характеризующий здешних татар.

— У старшего брата, — рассказывал Гаврила Мефодьевич, — была книга, куда он записывал долги инородцев. Раз как-то лежала она на столе, пред образом, у которого теплилась свечка. В комнате никого не было. Свечка возьми да и упади, книгу и сожгла. Тогда брат, знавший только один общий итог своих одолжений татарам, пришёл в ужас. Делать нечего, поехал по улусам и стал спрашивать: нет ли тут кого из его должников? Должники сейчас же явились. Далее брат предложил вопрос: сколько каждый из них должен? Все отвечали так, как кто мог припомнить. Так составилась новая книга, по которой общий итог долгов инородцев оказался совершенно верным с итогом прежней книги. Не правда ли, простота?..

Гости сдержанно посмеялись, хозяин — тоже. Эту историю он рассказывал всем.

Потом заговорили о древних могильниках и могильных древностях. Князь Костров сказал, что изучение древностей Енисея и Абакана началось в Петровскую эпоху, а впервые начал раскопки на Абакане учёный немец Мессершмидт в 1721 году. История помнит и другие имена…

— Лет десять назад, — вспомнил вдруг и Ананьин, — в сорок пятом году дело было, крестьянин деревни Табатской, что в пятнадцати верстах от деревни Иудиной, некий Полежаев, нашёл в горе довольно интересные вещи: серебряную дощечку длиною до шести вершков, с четырьмя строками надписи, да две большие и две маленькие серебряные чашечки и до пяти штук серёг. Эти вещи я у него купил и повёз в Красноярск. И что же? При ближайшем рассмотрении надписи на дощечке оказалось, что она вычеканена тибетскими

литерами на монгольском языке. Так мне специалисты сказали.
— И что же там было написано? — оживился Марк, заинтересованный рассказом Ананьина.
— Надпись содержит приказание: «Силою вечнаго неба имя Хана да будет священно. Кто не уважит, тот погибнет, умрёт». Специалисты-историки, в частности Антоний Климентьевич Мошкин, полагают, что этот ярлык принадлежит царствованию пятого монгольского хана Хубилая и дан был какому-нибудь сановнику, который правил здешними народами или собирал дань.

Князь Костров прибавил к сообщению Ананьина то, что знал об удачных находках.
— Между Абаканским и Саянским форпостами, — сказал он, — по слухам, в могильниках находили столько золота и серебра, что лет пятнадцать тому назад «золотник золота» в Красноярске и Енисейске можно было купить за полтину. В большинстве случаев серебро оказалось поддельным.

От шампанского Марку стало тепло. Он разомлел, впалые щёки покрылись нездоровым румянцем, в груди ровно бы отворились трубы, дышать стало легче…

У здешних татар обычай таков: уезжает чиновник — провожают его, по крайней мере, вёрст десять. По обеим сторонам кибитки окружного начальника, подобно почётному конвою, скакало по семи-восьми всадников; сидели они в сёдлах ловко, красиво, пригнувшись к луке, в корпусе ни тряски, ни колебаний, как бы приросли к лошади, — не скакали, а словно плыли по воздуху. Да, наездники они отменные, а в телеге ездить не умеют…

Верстах в десяти от Аскыза они отстали, потом и вовсе растворились в степи.

От Сагайской думы до деревни Усть-Есь вёрст тридцать. Дорога идёт степью. За всё время пути встретился лишь один верховой татарин, да и то пьяный; бросив поводья и качаясь в седле, он тягуче напевал один из своих напевов.

Деревня Усть-Есь — это несколько летних и зимних юрт и два весьма достойных внимания деревянных дома, по-русски срубленных. В одном живёт минусинский купец Корнилов, другой принадлежит какому-то кузнецкому мещанину, занимающемуся скотоводством и хлебопашеством. Окрестности довольно живописны, протекающая неподалеку речка Тея изобилует рыбой, так что татары здесь не бедствуют. При обильных сенокосах грех было бы жаловаться на жизнь!
— Во время сбора ясака, — говорил князь, — у инородцев можно купить двадцать больших возов сена, и всего-то за два и не более как за три рубля серебром. А вот есть одна деревенька — это на речке Нине, называется она Сенявина, — верстах в трёх-четырёх от неё стоит гора Сеяк, так в ней весьма часто попадаются аметисты…
— Скоро ли мы приедем в Таштып? — зевая, спросил Марк; ему уже надоело трястись в холодной кибитке.
— От деревеньки Усть-Есь, через деревеньку Имек, вёрст тридцать пять осталось, — посчитал князь.

Но Марк уже не слышал его; он крепко спал, уронив на грудь голову, папаха съехала ему на глаза.

Проснулся Марк от какого-то гула, этот гул даже приснился ему: мимо лавиной мчится табун диких лошадей, — и ничего сразу не мог понять. Кибитка стояла, князя рядом не было, снаружи слышалось лошадиное ржание, скрип снега и топот копыт, русская речь — какие-то отрывочные фразы, команды, приказания…

Поправив папаху, опустив воротник шинели, Марк взялся было за ручку дверцы, но она сама распахнулась вдруг, и в проёме показалось усатое, улыбающееся во весь рот рябое лицо старшего урядника Чанчикова, станичного начальника.
— Здравия желаю, ваше благородие, Марк Васильевич! — от Чанчикова попахивало вином и луком. — С приездом! С утра дожидаемся.
— Какой день сегодня? — спросил Марк.
— Пятница! Первый день весны!
— Что в сотне?
— В сотне как в семье: чинно, благородно, всё в порядке!
— А где князь? — Марк оглядел внутренность кибитки.
— Князь?.. А, да вон с татарами калякает. А что, окружной начальник и вправду — князь?
— Князь, — подтвердил Марк. — А тебе зачем знать?
— Да вот казакам в диковинку: есаул Будберг — фон-барон, а Костров — князь. Вот и получается: в России всяких там баронов, князьёв и графьёв — как грязи, а у нас — по одному на город. Вроде как на расплод присланы. Сроду без баронов жили — и ничего, теперь вроде как нельзя…
— Не болтай глупости!
— Слушаюсь, ваше благородие!

Голова Чанчикова исчезла. Вернулся князь Костров и насмешливо заговорил о том, что не только его, окружного начальника, встречают с почестями. Для встречи своего командира чуть ли не вся казачья сотня в Имеке собралась.
— А я тут местных татар пытал: что означает название деревеньки — Имек? И что, ты думаешь, слово сие означает? «Имек» — значит «груди». Едешь от Таштыпа и видишь впереди два одинаковых холма — будто женщина упала навзничь…
— А ты, Николай, настоящий князь?

Костров с недоумением уставился на Марка.
— Настоящий. А что?
— Единственный на весь Минусинск?
— Нет, ещё один князь живёт. Владимир Васильевич Вяземский. Служит смотрителем горных работ на Кызасских золотых промыслах, это в верховьях

Абакана. Умный, образованный человек! Его хлопотам обязано существование кызасской метеостанции, наблюдение и записи на которой он производит единолично… А ещё—декабристы, тоже не из простого звания.

Минусинский окружной начальник, он же юрист, историк, этнограф, обдумывал содержание своих бесед с качинскими и сагайскими татарами. Он ещё не знал, во что они выльются, в статью или очерк, который он отправит в Петербург. Не хватало единственного штриха в его путешествии—конечного пункта. В Таштыпе он сделает последнюю запись и поставит точку…

Таштып—село, вернее, казачья станица Бейской волости,—стоит на границе Томской губернии. Князь недоумевал: «По какому-то странному способу межевания, употреблённому при отводе земель для алтайских горных заводов, не только половина самого села, но и половина ограды его церкви отведена к Кузнецкому округу».

Голая, ровная долина окружена лысыми и слегка залесёнными горами причудливых очертаний. Горы каменные, но не столь острые и менее высокие, чем Саянские. Направо—река Абакан, а за ней—опять горы, и тоже голые. Впереди идёт ряд хребтов, один другого выше, покрытых лесом, за ним—снеговые горы. Станица Таштыпская стоит на речке Таштып.

Ещё в Имеке татары рассказывали: по-русски «таштып»—«камень-мигун». Вероятно, такое название местности дано не случайно, ибо окружена со всех сторон горами, которые летом, во время сильной жары, представляются издали как бы колеблющимися, мигающими. А некоторые утверждали, что «таштып»—«каменное дно»: «таш»—«камень», «тып»—«дно»… Может, и так. Окружённое горами, селение стоит будто на дне каменного мешка. Значит, и так, и этак будет верно.

«Таштып считается одним из самых красивых мест Минусинского округа, и совершенно справедливо,—записал в своей тетрадке князь Костров.—Равнина, на которой он стоит, змеевидно прорезается речкою Таштыпом; к востоку видны горы Джилан и Бонза, а к юго-западу взор теряется на горизонте, как будто бы заваленном огромными снеговыми горами.

В особенности вид на эти горы хорош в жаркую пору лета. От ярко блестящей белизны снега глаза невольно обращаются на ближайшие предметы и с удивлением встречают густую тёмную отрадную зелень травы и деревьев…»

— В нём есть, я вижу, такие дома, которые можно было бы перенести в любой сибирский город. Везде и во всём я вижу не только довольство, но даже изобилие,—похвалил Костров станицу, в которой Марку ещё предстояло жить.

— Да, всё так,—согласился Марк.—Наши казаки считаются богатейшими в округе. Многие имеют стада рогатого скота и табуны лошадей, ведут выгодный торг звериными шкурами. У таштыпских казаков, кажется, только и можно приобрести рога изюбра, их очень ценят китайцы на Кяхте.

— Любопытные сведения! Позволь, Марк, я запишу?

— Записывай!.. В прежние времена близ Таштыпа было деревянное укрепление, состоящее из равностороннего четырёхугольника с башнею над воротами и рогатками в два ряда со всех сторон. Теперь это укрепление не существует.

— Ну и… выгодна торговля рогами для казаков?

— Как тебе сказать?..—Марк помолчал, обдумывая ответ.—Зверопромышленники не понимают своих собственных выгод. Убив изюбра, они отрубают рога. А между тем китайцам они нужны с лобовой частью, и притом не сухие, а такие, чтобы в оконечностях своих заключали жидкую кровавую материю, имеющую, по словам китайцев, запах мускуса, который придаёт какую-то особенную целебную силу. За пару таких рогов на Кяхте платят иногда до двухсот рублей серебром. Но такие рога из Минусинского округа почти не вывозятся. Говорят, кстати, будто бы у китайцев есть обыкновение дарить рога новобрачным…

— Вроде намёка?—хохотнул князь.—Ладно, шутки в сторону. Если хочешь, подвезу тебя до Арбатского форпоста,—и прибавил, как бы оправдываясь:—Арбатская, правда, не в моём ведомстве—в казачьем, и я мог бы махнуть из Таштыпа прямо в Монок. Но могу и через Арбаты… Форпост называют Абаканским потому, что стоит на реке Абакан, а по урочищу—Арбатским, что значит—«жертвоприношение». Ежели и впрямь здесь приносимы были жертвы древними, то выбрали они место удачно. «Утёсы гор составляют великолепную ротонду, на которой покоится лазурный купол неба, озаряемый, в известное время дня, присутствием божественного света…»—так писал в своё время Степанов.

— Казаки Таштыпа и Арбатов составляют одну станицу,—сказал Марк.—За Арбатами уже нет никакого жилья. А до Монока—тридцать вёрст. До Монока через Арбаты не проедешь.

— Почему?

— Летом из Арбатов обыкновенно спускаются в Монок по Абакану, а это опасно. Стремление реки ужасное! Лодка готова разбиться в щепки о каменистые берега, поверь мне, князь, а по льду… лёд ещё хрупок, вода подточила его снизу.

— Жаль,—вздохнул князь.—А ведь я там ещё не был!

— Летом съездишь. Из Таштыпа прямо на Монок! Места чрезвычайно живописны! Сперва дорога идёт лугами, потом горами. Напротив Монока, над берегом Абакана, горы образуют несколько отдельных башен гигантской фантастической крепости. Зрелище поразительное, князь!..

4.

Старший урядник Тит Чанчиков горячился, бегал из угла в угол — от облупленного шкафа со станичными бумагами до обшарпанного стола, за которым сидел и листал рыхлую шнуровую книгу командир сотни, — и кричал:

— Устал я от пустой переписки, ваше благородие, Марк Васильевич! Сил нет! Измучился! Не слушаются меня казаки! Всё!..

То и дело хлопала дверь — входили и выходили казаки, у всех находились какие-нибудь вопросы к «его благородию». На самом деле, «по секрету» объяснил сотенный писарь урядник Иван Зырянов, «они соскучились» по своему командиру.

Не подымая головы, Марк старательно изучал бумаги, накопившиеся за тот месяц, пока он отсутствовал: приказы, подписанные Чанчиковым, постовые ведомости, ведомости на выдачу жалованья и посуточного склада.

«Разболтались... Ох, разболтались без отца-командира! — начал он постепенно злиться. — Одеты как попало: вместо куртки — сюртук, вместо шинели — однорядка... Одно отличие — сабля на боку. И от каждого несёт как из винной бочки. Вот что значит — нет офицера! Не сотня, а Шоша да Ероша... Ну, я вам гриву-то сломаю...»

На глаза попался ему один документ — список с «Положения сибирского комитета», полученный месяц назад, после его отъезда в Красноярск, с которым он ещё не был ознакомлен. Положение предоставляло шестой сотне право «беспошлинной мены с китайцами собственных сельских производств».

«Слава Богу, нас оно не касается», — облегчённо вздохнул Марк. Такое же положение, как он помнит, было около двух лет назад, и касалось оно пятой сотни. Содержание его почти не изменилось и тоже давало такое же право.

— Кстати, ты готов отправиться к пограничному знаку, урядник? — наконец подал голос Марк.

— Старший урядник, — поправил Чанчиков. — Меня ещё пока не разжаловали...

— Ладно тебе обижаться-то! Я же не обижаюсь, когда ты обращаешься ко мне не «господин заурядхорунжий», а «господин хорунжий».

Чанчиков хмыкнул:

— Сравнил... Я ведь не унижаю, наоборот, возвышаю тебя!

— Ладно, ладно! Так что? Готов к надзору за пограничным знаком, господин старший урядник?

— Не готов. На другой год — с удовольствием, а ноне... Жена прихворнула, фельдшер говорит — по-женски что-то... Ей лежать велено, а мне, стало быть, хозяйство вести.

— Хорошо, сам пойду, — решительно заявил Марк. — Подбери мне семь казаков, да помощней, повыносливей! — повернулся к писарю: — А ты, Иван Иванович, подготовь приказ. За меня остаётся старший урядник Чанчиков. Всем всё ясно?

— Ясно, чего уж там...

Это уже традиция — надзор за пограничными знаками.

Таких знаков, расположенных по монгольской границе на протяжении двухсот пятидесяти вёрст, всего три: Сабин-дабага, Хоин-табан и Бом-Кемчуг. На первый ходят казаки станицы Абаканской (или Арбатской), на второй — Саянской, а на третий — из обеих станиц сразу.

На пограничный знак Сабин-дабага идут казаки Арбатского форпоста обычно в сентябре. Поднимаются вверх по Абакану до устья Джебаша и потом по Джебашу — до устья Чехони. Эту петляющую речку пересекают несколько раз. Таким образом, от Арбатов до горы Сабин-дабага, на голой вершине которой и утверждён пограничный знак, уходит четыре дня.

К Хоин-табану (эту гору называют ещё Гурбан) казаки Саянской станицы ходят в конце августа и в сентябре. Пересекают реку Шадат, впадающую в Амыл, и идут сначала по одному, затем по другому берегу Кебежа, текущего змеёй по равнине. Затем переправляются через Большую и Малую Ои, преодолевают утёсистые горы, переходят болотистую реку Арадан, а после и Ус, — и вот она, гора Хоин-табан. Путешествие к ней занимает пять дней.

Зауряд-хорунжему Сурикову с группой казаков предстоит нелёгкий поход к Сабин-дабага. Обычно возглавляет его станичный начальник или кто-нибудь из опытных урядников, но Марк, жалея этих уже немолодых, семейных людей, отправлялся сам, тем более что он уже туда один раз ходил.

В марте же — особый сбор у общего пограничного знака Бом-Кемчуг, и опять Марк поведёт туда своих казаков.

В Означенное съезжаются казаки по семь человек — от Саянского, Кебежского, Шадатского, Арбатского и Таштыпского форпостов. И вот отряд из двадцати конных казаков и одного головы какой-нибудь станицы, коему поручается возглавить поход, отправляется на Бом-Кемчуг.

Русские казаки встречаются с китайцами и монголами на пограничных знаках, отстоящих от форпостов на сто пятьдесят и даже триста вёрст, несколько раз в году. Причём в строго определённое время. Традиция съезда и обряд встречи поддерживаются издавна и наиболее для того, «чтобы не огорчать китайцев, ибо малейшее нарушение их народных привычек возрождает в их подозрительном управлении большой переполох».

— Что там у тебя за скандал со священнослужителями? — спросил Марк, обращаясь к станичному начальнику. — Чем они тебя огорчили? Они готовятся крестить татар, и мы должны помогать им, а у тебя какие-то нелады... В чём дело?

— А ну их к бесу! — выругался Чанчиков. — Тянут время, как кота за хвост. А тут ещё заседатель

Гоштофт… Сидит в волостном селе Бейске, завёл следствие, депешами забросал. Второй год это проклятое дело тянется! Я уже отчаялся…

Есть отчего Чанчикову прийти в отчаяние! Внеслужебные нарушения и беспорядки, учинённые казаками, падают на погоны прежде всего станичного начальника. Вот и приходится разбираться, во всякое дело вникать.

Со священниками суть дела такова, что сразу и не расхлебаешь — такая заварилась в станице каша. Лошади священника таштыпской Христорождественской церкви Афанасия Гриценкова потравили хлеб у казака Борзова, тот подал жалобу, требуя возмещения убытка, однако отец Афанасий упорствует. Новый заседатель Минусинского земского суда Симон Карлович Гоштофт начал расследование. Следственное дело распухло до восьмидесяти страниц, а конца ему так и не видно. Гоштофт пишет отцу Афанасию, тот — священнику аскызской Петропавловской церкви отцу Иоанну Токареву, а оба вместе — благочинному Георгию Бенедиктову, благочинный — заседателю…

— Уже и не знаю, по какому кругу пошла писать губерния, — кипятился Чанчиков. — А тут и другая напасть свалилась: ещё одна переписка, в январе дело было…

Марк поднял на станичного начальника всё понимающие тёмно-карие глаза, казавшиеся на бледном сухом лице необыкновенно большими и блестящими.

— Бейский священник Пётр Евтюгин, — продолжал Чанчиков, — будто бы нанёс жене казака Дениса Кузнецова Ирине побои, а когда заседатель Гоштофт начал следствие, то оказалось, что и Евтюгину была нанесена обида, причинённая крестьянкой Надеждой Шарыповой. Кто там прав, кто виноват — сам чёрт не разберёт! А заседатель сидит в доме крестьянина Беспалова, где имеет квартиру, и рассылает повестки: Токареву, Бенедиктову в Минусинск… Благочинный назначает депутатом по делу с духовной стороны священника Токарева, а Евтюгин от него отказывается, говорит мне: «По известным причинам…»

— Отец Пётр довольно приличный священнослужитель, — сказал Марк. — Ещё в пятьдесят втором году, помню, он изъявил согласие ясачных инородцев крестить и венчать без замедления и без всякого даже вознаграждения. В Таштыпе он окрестил семь человек да в Аскызе восемнадцать.

— Да что там — семь! Заштатный священник Спасской церкви в Минусинске Николай Пудовиков окрестил двадцать семь! А потом пошёл и ещё сто двадцать восемь… И татар Качинской думы пять душ… А твой Евтюгин только всё пыжится.

— Отец Иоанн Токарев тоже хорош, — встрял в разговор писарь Зырянов. — Ездил я как-то в Монок, возвращаюсь через три дня и узнаю, что казачья дочь Наталья Иконникова выдана отцом в замужество за ясачного Сагайской степной думы Долго-Карпинского улуса Ончепова сына.

— Это когда же было? — недоверчиво спросил Чанчиков.

— В ноябре пятьдесят третьего.

— А где же мы с хорунжим были?

— Ты ещё не воротился с Сабин-дабага, а хорунжий — из Красноярска. Я тогда за вас обоих начальником остался и всё уладил: послал депешу отцу Иоанну в Аскыз, потребовал отменить венчание, а если обвенчаны, то просил уведомить меня об этом и объяснить, по какому свидетельству обвенчаны и за чьим подписом, какая приложена к сему печать…

— И что, были обвенчаны?

— Отец Иоанн помедлил…

— Почему не доложил мне? — строго спросил Марк.

— Подумал: зачем командира беспокоить по пустякам?

— Докладывать надо. О каждом пустяке докладывать! А то у нас тут чёрт-те что происходит, а я ничего не знаю. Какой ещё «пустяк» выяснится?

— Евтюгин доносит…

— Опять Евтюгин… — раздражённо протянул Марк.

— Евтюгин доносит, что инородец Бакланов вступил в брак с девицей Сагайской думы Епинерией Баклановой, и брак сей совершил в бейской Покровской церкви священник Токарев.

— Ну и что с того?

— Заседатель Гоштофт велит прислать и эти сведения, чтобы приобщить к делу.

— Не нам попов судить, на то есть черти, — Марк захлопнул шнуровую книгу и подвинул её Чанчикову под руку. — Какие за последний месяц приказы были, давай сюда.

Из вороха бумаг извлёк список с приказа, коим предписывалось «к первому числу каждого месяца представлять в полковую канцелярию краткие сведения о следственных делах, в производстве находящиеся», обратил внимание на дату: документ свежий, только вчера получен урядником Зыряновым и ещё не занесён в сотенный реестр.

Дочитав до конца, Марк распорядился подготовить требуемую ведомость и дать ему на подпись.

И ещё один приказ — требовательный и строгий: «Усматривая из переходящих чрез полковое управление следственных дел, что казаки 5-й и 6-й сотен командуемого мною полка нередко обращают на себя подозрение в корчемной винокурке хлебного вина, а в сентябре 1853 г. в дачах Таштыпской станицы корчемным поверенным найдены инструменты и материалы в значительном количестве, способствовавшие для винокурения. Относя это к слабому надзору местного ближайшего начальства, строжайше предписываю гг. командующим 5-й и 6-й сотнями и местным станичным начальникам употребить самые деятельные меры к пресечению

этого зла из опасения в противном случае, на основании 526 ст. Уст. воен. уголов., подвергнуться военному суду…»

— А вы-то, господа урядники, читали? — ядовито спросил Марк, держа за уголок двумя пальцами бумагу и поглядывая то на Чанчикова, то на Зырянова тёмными от гнева глазами.

— Ну как же, ваше благородие, конечно же, читали!

— И что скажете на это?

— Какая-то скотина донесла…

— С этим безобразием надо кончать! Никакого корчемства! И чтоб я не читал впредь подобных приказов!

Марк сердито смахнул бумаги в ящик стола, со стуком задвинул его, встал и направился к выходу. У двери обернулся и бросил Чанчикову:

— Собери казаков — тех, кто свободен от караулов, и тех, кто от караулов освободится. Зачитай им эти приказы. Скажи: ответственность будет нести каждый соответственно Уставу…

— Ясно, ваше благородие, — вяло отозвался Чанчиков.

Он, конечно же, сделает всё, как и должно, Марк ничуть в этом не сомневался. Но послушаются ли казаки? Тотчас же выбросят корчемские инструменты?! Какая наивность! Казак и пальцем не шевельнёт. Но сделать внушение, строго пригрозить шпицрутенами и розгами всё равно придётся, хотя Марк старался избегать применения в сотне телесных наказаний. Правда, приходилось наказывать, и довольно сурово: сажал под арест. Казаки не обижались, тем более что арестованным нижним чинам, не имеющим содержания, выдавались из казны кормовые деньги в размере семидесяти одной с четвертью копейки серебром в сутки, издержки относились на счёт полкового капитала. Но часто Марк только создавал видимость наказания с тем, чтобы только записать в журнал и чтобы сведения о проступках и наказаниях легли на стол командующего Енисейским конным казачьим полком войскового старшины Мазаровича. По ним Иван Семёнович судил о способностях сотенного начальства держать нижних чинов в узде. Однако доставленные в полк сведения часто не соответствовали истине, и тогда Мазарович строго наказывал командира сотни, реже — станичного начальника, «за непорядки и упущения». Когда наказания участились, у Марка и Чанчикова возникли подозрения, что кто-то является доносчиком…

Назавтра Чанчиков собрал казаков, свободных от постов и караулов. Одетые как попало, казаки сидели на крыльце, на завалинке, курили, рассказывали друг другу байки, а молодёжь, в том числе и малолетки, образуя круг, топталась, приплясывала, смеялась и шутила. День был тёплый, солнечный, снег подтаивал, с крыш капало.

В ожидании сотенного командира станичники завели разговор о новом командующем полком: дескать, зверь зверем этот Мазарович, наказывает казаков без оглядки, бывает, и засекает розгами насмерть. И приводили примеры. Совсем недавно в енисейской городовой больнице скончался урядник Пётр Полигузов — будто бы его до смерти избил заведующий казачьей командой урядник Митрофанов. Этот слух тут же опровергли: Митрофанов ни при чём, а Полигузов умер сам по себе, простудившись в карауле. К тому же урядники, как и офицеры, телесным наказаниям не подлежат. А вот Прокопий Дрокин за чрезмерное пьянство получил сто ударов розгами — и ничего, жив! Так что вздорные слухи нельзя принимать за чистую монету. Разве может свой же брат казак бить со всей силы? Ну, ударит легонько, вроде как погладит, а размах сделает — ну, думаешь, сейчас зашибёт! Казаки не верили, что в Красноярске на конюшне могут забить насмерть, однако приказный Хрисанф Каргаполов доказывал обратное:

— Да чаво там, дерут нашего брата, ещё как дерут! Вон и сотенный не даст соврать. Как помер атаман Суриков, царство ему небесное, так и пошло-поехало: батоги, розги, шпицрутены… Оно, может, и за дело дерут — пить надо меньше! — но не насмерть же…

— С этого бы и начал! Ха-ха-ха!..

— А вот надысь помер мой знакомый, из крестьян, — вспомнил старый казак Пётр Сипкин. — Замечательный мужик был! Корчемством занимался. Каждый Божий день выпивал по два штофа водки.

— А отчего помер-то?

— Откуда я знаю? Помер и помер!

Наконец появился на крыльце командир сотни зауряд-хорунжий Марк Суриков. Казаки встретили его знакомым дружным приветствием:

— Здравия желаем, господин хорунжий!

— С возвращеньицем!..

— Уж мы тебя, Марко Васильич, ждали-ждали…

— Как там, в Красноярске-то, шибко начальство лютует? — поинтересовался Пётр Сипкин. — Мы тут про всё такое кажин день разговоры говорим, да толку-то! Поговорим да на ту же задницу и сядем.

Сипкиных в Таштыпе много — и родственники, и однофамильцы, а может, все они связаны кровными узами, только призабыли, кто от кого пошёл. Одних только малолеток — восемь человек, с будущего года будут повёрстаны в службу. Пётр Алексеевич Сипкин — самый старый, больной, вот-вот умрёт, а вот на станичный круг явился, как делал это всегда. Марк сразу же выделил его по белой бороде, встретился с его внимательным взглядом и подумал, что жадный до новостей и разных слухов старик так просто от него не отстанет.

Сегодня Марку особенно нездоровилось. Вчера они с Чанчиковым изрядно выпили, Марку было хорошо, а ночью его душил кашель. Забылся лишь

под утро, и если б не разбудил денщик, вероятней всего, проспал бы до обеда.

Марк велел Чанчикову построить сотню, и Чанчиков зычно подал команду:

— Со-отня-я… во фронт ста-но-вись!

Казаки нехотя построились, недовольно ворча, что, дескать, какой может быть строй без коня, вот ежели бы навершными — это был бы строй, сразу видать казака, а так вроде как пешая команда, сброд…

Прохаживаясь вдоль фронта, Марк заметил:

— Теперь я вижу вас всех: кто как одет, кому надо постричься, кому побриться…

— А кому и похмелиться! — ввернул озорник, один из Сипкиных, Константин, который согласился в будущем году служить вместо брата Прокопия, просившего не посылать его в Арбаты «по причине расстройства домашнего хозяйства».

Реплику Марк пропустил мимо ушей и, похаживая перед строем, вглядываясь в знакомые лица, гадал: кого он взял бы с собой на пограничный знак? Семёна Сипкина? Или Михайлу Козьмина? А может, Андрея Байкалова?.. Нет! Станичный начальник наверняка наметил охотников, и в кармане у него лежит список на шесть человек — холостых, здоровых, выносливых, умеющих вести торг с китайцами, отъявленных балагуров и озорников. И непременно должен быть среди них толмач.

— Должен вам сказать, господа казаки, — заговорил Марк хриплым голосом — болело надсаженное ночным кашлем горло, — что командующий полком недоволен тем, как мы относим государеву службу. Плохо мы её относим! Не выполняем предписаний начальства. Несвоевременно отчитываемся. В караулах и на постах дремлем — стоя, как лошади. Сам наблюдал: стоит караульный, спиной к стенке, ружьё рядом прислонено — подходи и бери его, тёпленького, под микитки. А одеты как? Гляньте на себя: не казаки — банная запука… Михаил Медведев! У тебя что, по чекменю куры топтались? А ты, Борзов, когда последний раз сапоги чистил? Терсков! Иван Терсков, к тебе обращаюсь: нечего языком ляскать, слушай в оба уха, что командир говорит! Почему на тебе однорядка, а не родной казачий чекмень? В чём дело, казак Терсков?

— Дык… ведь я не на службе нонче!

— Все мы на службе государевой! Военной! И одеяние у всех должно быть форменное, а не статское. Ну, я возьмусь, однако, за вас… Старший урядник Чанчиков! В другой раз буду проверять амуницию, лошадей, конюшню… Чтоб везде был порядок!

— Слушаюсь, ваше благородие!

— И ещё хочу от себя прибавить, — продолжал Марк, остановившись перед строем, чтоб отовсюду его было видно и слышно. — Среди казаков не должно быть доносчиков. Грех большой на товарищей доносить! Что бы ни случилось в станице, в сотне — сами разберёмся. Как говорится, нашёл — молчи, потерял — тоже молчи…

— Верно говорит сотенный! — поддержал Марка Чанчиков. — Что нужно будет — мы в ежемесячном отчёте начальству отпишем. Но зачем же сор из избы выносить? Креста нет на том, кто доносит…

Казаки молчали, переминаясь с ноги на ногу, и угрюмо смотрели в землю.

Выдержав паузу, Марк заговорил снова:

— А теперь — приятные новости. Первая. Казаки нашей станицы Фёдор Александров и Ефим Сипкин ещё по осени, если помните, подали помощь утопавшим в реке Абакане с разбитого плота четверым крестьянам, подвергая риску свои собственные жизни. И вот на наши ходатайства получен приказ из Иркутска с объявлением благодарности Сипкину и Александрову самого генерал-губернатора.

Строй ожил, зашевелился, зашумел, кто-то крикнул:

— Александрову и Сипкину — ура!

— Ура! Ура! Ура! — троекратное эхо отозвалось в горах.

— Вторая новость! — Марк вынул бумагу и стал читать. — «Казак Василий Каргаполов, вследствие предписания его превосходительства господина председательствующего в совете Главного управления Восточной Сибири генерал-майора и кавалера Венцеля от третьего февраля за номером сто восемь за усердную службу и хорошее поведение произведён в младшие урядники…»

И опять грохнуло в горах:

— Ура! Ура! Ура!

— Сейчас он в отлучке, на золотых промыслах, но как только воротится в станицу, то будет приведён к присяге.

Марк передал бумагу писарю Зырянову и, дав команду:

— Вольно! Разойдись! — тотчас же был окружён казаками, жаждущими услышать от него последние новости.

Вопросов было много, они сыпались отовсюду, и поначалу Марк растерялся, не зная, с чего начать и что им всем так ответить, чтобы сразу было понятно.

И начал он издалека. В январе урядник Путимцев сопровождал в Курск политического преступника Бардаховского и на днях вернулся в Красноярск. Генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв организовал сплав экспедиции по Амуру и пригласил участвовать в ней красноярского купца Кузнецова. Экспедиция завершилась удачно, государь щедро наградил всех её участников. А ныне намечается новый сплав под начальством командующего Забайкальским пешим казачьим войском полковника Корсакова, зятя генерал-губернатора… И потянулась цепочка:

вопрос — ответ… В ответах Марка ничего не было примечательного, обычное дело — частица жизни Енисейского конного казачьего полка, чем, собственно, казаки и жили: ревизии, поверки, смотры, гауптвахта, развод караулов, парадные построения, трубаческая команда, цейхгауз, офицеры и урядники, писаря, оружие, поощрения за поимку беглых каторжников и наказания за… В общем, всё-всё интересовало казаков, удалённых от культурных центров на долгие пять лет.

О кадровых перемещениях Марк говорил особо. В феврале прошлого года в полк прибыл и зачислен в списочный состав шестой сотни поручик барон Александр Готгардов фон Будберг, остзейский немец, переведённый из лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, и уже — есаул. Поговаривают, что скоро его заберут в Иркутск. Есаул Кребер уже переведён в Забайкальское казачье войско. Не зря генерал-губернатор Муравьёв обрастает хорошими офицерами! Хочет окончательно освоить Амур, сделать эту пограничную реку русской, укрепить дальневосточные российские рубежи. И его торопливость с амурскими экспедициями становится понятной: Крымская война отрыгнулась и на нашем Дальнем Востоке — американские и английские корабли ищут устье Амура, чтобы проникнуть в пределы богатой Сибири. Муравьёв настроен решительно: не только не пустить интервентов, но и отразить любую их провокацию силой оружия.

— Пусть токо сунутся! — потряс в воздухе кулаком Дмитрий Байкалов. Ныне он пожелал служить за своего отца, Петра Григорьевича, задумавшего продлить себе льготу, и потому был нетерпелив и воинствен. — Мы этих американцев так турнём — не возрадуются! И англичанцев турнём!..

Отец по-свойски хлопнул его по затылку:

— Помолчи-ка, алёха сельский! Плетёшь несвойку, а чё плетёшь? Ишь, турнёт он… До их ишо добраться надо!

— Муравьёв доберётся!

«Откуда в русском человеке такая вера? — спросил сам себя Марк. И сам себе же ответил: — Потому что он — русский! Сколько их, иноземцев, пыталось взять Россию силой — и ничего не вышло у них. А ведь хотели: и шведы, и немцы, и французы… Все получили по мордам…»

После падения Севастополя Англия радовалась. Лорд Пальмерстон потирал руки: «Нет страны на свете, которая так мало проиграла бы от войны, как Англия!»

«Нет, не радоваться им! Русский патриот не побоится вражеских пуль и способен даже на самопожертвование!..»

— А не бросят ли русские Амура? — спросил Иван Терсков. — Мы — далеко, а американцы — рядом. Ежели торговля там процветёт, здешним жителям выгоднее иметь ближайших покровителей, а нам же за безмерной отдалённостью неудобно будет их защищать.

— Амура русские не бросят, — уверенно заявил Марк. — Уже сейчас контр-адмирал Завойко успешно отразил неприятельские нападения на Петропавловск в Камчатке.

— Отразил, а что дальше-то будет?

— Мы прочно осядем в устье Амура. Туда перенесём учреждения из Петропавловска, укрепим форты пушками. Муравьёв продумал всё до мелочи. Купец Кузнецов рассказывал…

И тут Марка внезапно схватил приступ кашля. Обняв рукою балясину крыльца, он кашлял долго, мучительно; казалось, выворачивало его наизнанку, и маленькое, тщедушное тело содрогалось, как у больного падучей.

Казаки молча расступились и с младенческой открытостью, с материнской жалостью в глазах растерянно смотрели, как мучается их командир, как надрывает он свои слабые лёгкие и как трудно ему достаётся каждый глоток свежего воздуха. Кто-то вдруг выкрикнул, догадавшись:

— Казаки! У кого есть вино?

И следом раздалось несколько голосов сразу, нетерпеливых и зычных, как иерихонские трубы:

— Вина-а со-отенному!! Вина-а!! Дайте ему вина-а!!!

Нашлась бутылка с вином, нашлась и жестяная кружка; вино быстро вылили в кружку и протянули зауряд-хорунжему.

Трясущимися руками Марк схватил кружку и, припав к ней губами, торопливо и жадно стал пить, расплёскивая и смачивая усы, с невероятным усилием сдерживая себя, чтобы не кашлянуть; зубы стучали по железу, а мучительные позывы к кашлю выталкивали вино обратно.

С последним глотком ослабевший Марк почувствовал облегчение, но сил не было даже на то, чтобы передать пустую посудину. Её почти выхватил у него из рук Дмитрий Байкалов. Кто-то услужливо подставил стул, и Байкалов усадил на него Марка, совсем ослабевшего и безвольного. Такого приступа у него ещё не было.

Вино сделало своё дело: хмель горячо ударил в голову и начал согревать отравленную болезнью кровь; дышалось легко, исчезло щекотанье в груди, и тупая боль между лопатками отступила. И вскоре Марк почувствовал, что захмелел.

— Спасибо, братцы, — сказал он, кажется, громко, но только пошевелил губами.

Старый казак Пётр Байкалов жалостливо поглядывал на Марка и вздыхал:

— Ах ты ж, Божечки, такой молоденький здоровьем скудался!.. Да какой из тебя, милый, ходок на Бом-Кемчуг? Загнёсся в горах-то! Не ходил бы ты, а?

— Ничего, отец, дойду. В горах мне, наоборот, легче дышится.

В назначенный день станичный начальник передал Марку список лиц, отобранных им для похода на пограничный знак, а потом представил и самих людей — пятерых казаков и толмача из местных сагайцев.

— Как зовут? — спросил Марк татарина-толмача.

— Кызылчак, ваше блакоротие!

— Будь спокоен, Марк Васильевич, — сказал Чанчиков, похлопав маленького татарина по плечу, — этот сагаец три языка знает: русский, китайский и, разумеется, свой. Много всяких легенд помнит, не скучно будет с ним коротать длинную дорогу. Да и казаков я тебе подобрал в самый раз, вот полюбуйся!

Казаки и впрямь были что надо: Семён Юданов, Михаил Юшков, Семён Сипкин, Дмитрий Байкалов, Николай Чанчиков, сын станичного начальника, — молодые, рослые, и все как один зубоскалы, за словом в карман не полезут.

Марк улыбнулся: «Ну Чанчиков… Ну прохиндей, ухо с глазом… Специально подобрал таких, чтоб командира веселили!» — и казаками остался доволен.

Лично осмотрев строевых коней, чтоб не больны были да чтобы подковы не стёрты, чтоб не было под седлом потёртости, обратив особое внимание на вальтрапы, тебеньки, решмы, Марк приказал казакам одеться строго по форме:

— Не к тёще на блины едем, всё должно быть хорошо подогнано!

Сам же отправился к сотенному фельдшеру, с которым давно хотел познакомиться ближе, но всё как-то не получалось.

Младший фельдшер Константинов, «для пользы службы» переведённый из Соляноозёрной станицы в Таштыпскую, был тщательнейшим образом ознакомлен с историей болезни Марка Сурикова, которую вёл прежний фельдшер Богушевский. В отличие от Богушевского, а ещё раньше — от Николая Неводчикова, который впервые прописал Марку алкоголь при кашле, Фёдор Константинов был человеком неопределённого возраста, лысеющим, в движениях медлительным, на язык болтливым, норовом славным.

Марк пришёл, чтобы попросить в дорогу пилюль от кашля, а принужден был обнажиться до пояса и дать себя осмотреть.

Фельдшер удивился худобе своего пациента, но сделал вид, что и не такие экземпляры прошли через его руки.

Сначала он осмотрел Марка внешне — как учили в фельдшерской школе, про себя отмечая: длинная шея, плохо развитый слой подкожной жировой клетчатки, слабая мускулатура и таковой же костяк, плоская длинная и узкая грудная клетка, широкие и глубокие межрёберные промежутки, косо поставленные ключицы, отстающие и далеко расставленные лопатки, бледная слизистая оболочка носоглотки… «Богушевский прав: лёгочная чахотка! И, кажется, давно прогрессирует. Лечение чисто симптоматическое…» — с уверенностью сказал сам себе Константинов, улыбаясь и посматривая на Марка так, будто у него обычное простудное заболевание.

— Прекрасно… Гм, в общем, недурно, — бормотал он, выслушивая и выстукивая пациента.

Он вертел Марка и так, и этак, приставлял то к спине, то к груди слуховую трубку, а то и ухо; ухо было неприятно холодным, а пальцы, касающиеся обнажённого тела, — твёрдыми, как поросячьи копытца. При этом он рассказывал, как однажды спас от смерти крестьянскую девку, укушенную змеёй:

— Страдания её были ужасны. Опухоль по всей ноге — ни сесть, ни лечь. Я велел мазать ногу деревянным маслом, а сам побежал домой почитать в книгах… У меня есть лечебник Лоевского. Из всех средств мне показалось удобоприемлемым только одно описание. Змея укусила девицу. Приложили живую лягушку брюхом к ранке. Лягушка сперва сильно шевелилась, потом ослабела. Её отняли, и она околела. Приложили другую, третью… И так до десяти. И все они околевали. Одиннадцатая же осталась жива, что и послужило признаком, что яд уничтожен… Страх миновался, осталась только боль. Девица стала поправляться и через три дня вышла на работу… Ну, я присоветовал моей крестьянке прикладывать к ранке лягушек. И представьте, вылечилась! Лягушки должны быть употребляемы луговые, тонкобрюхие, но не земляные, черепахообразные — кожа у них толстая, не пропускает яда… И такие лягушки не колеют.

— Ну а мне, доктор, на какое место лягушек прикажете ставить? — съязвил Марк.

Фельдшер глянул на него по-детски наивными светлыми глазами и пролепетал что-то вроде того, что это у него привычка такая — разговаривать с пациентом во время осмотра: успокаивает, мол, обоих…

— Ты мне зубы не заговаривай, а дай что-нибудь от кашля. И скажи, что мне можно, а что нельзя потреблять.

Фельдшер с готовностью взялся перечислять:

— Питайтесь предпочтительней всего животной пищей, ваше благородие. Можно и молоко, и масло коровье, и рыбий жир… Сладкое исключить вовсе. Уксус — ни в коем случае! Но всякому пищевому веществу надо прибавлять немного соли.

— А из питья — что?

— Противолихорадочное — отвар хинной корки с красным вином; лёгкие отхаркивающие — минеральные воды «Зальцбрунн» или «Эмс»… При сильном кашле принимайте кодеин. Ну и, разумеется, полезны свежий лесной или горный воздух, утренние холодные обтирания.

— Мне вино помогает,— сказал Марк, одеваясь.— Прежний фельдшер прописал…
— Вино — это хорошо,— согласился фельдшер.— Алкоголь в форме крепкого вина или коньяка — не повредит. Последний, например, пить с молоком вечером перед сном или ночью — знаете ли, улучшает деятельность сердца. К тому же вы избежите изнурительного ночного пота…

Марк спешил поскорей отделаться от болтливого фельдшера, который опять стал рассказывать свои дурацкие побасенки, совсем не заботясь о том, слушает ли его пациент:
— Идут по степи трое — жадный, неумный и вовсе дурак. Идут и видят: яма, в ней что-то копошится. «Ты чё такое?» — спрашивают, а в ответ: «Я — счастье!» — «А коли счастье, так сделай меня богатым»,— говорит жадный. И только проговорил — бац! — лежит перед ним мешок с деньгами. «Сделай меня умным»,— попросил неумный — и в мозгах у него прояснение возникло. «А тебе чего надо?» — спросило счастье дурака. Дурак почесал в затылке: «Да уж ладно, чё в яме-то сидеть, вылезай!» — и протянул руку. Счастье и вылезло. Дурак пошёл дальше своей дорогой, а счастье следом за ним… Счастливый вы человек, ваше благородие! — неожиданно заключил фельдшер.

Лицо у него умное, добродушное, рыжее, как кирпич, глаза жёлтые, смеющиеся, лукавые.
— Насчёт счастья — сомневаюсь, а что дурак — может быть, ты и прав,— пожал плечами Марк.— Но почему — дурак-то?
— Не в обиду будь сказано, ваше благородие, но если б вы только осознали, как опасно больны, то не собирались бы на Бом-Кемчуг.
— А я знаю, доктор. И знаю, что больше года не протяну. Но я не хочу умирать, и пока держусь в седле — живу. И на Бом-Кемчуг пойду, и на Сабиндабага в сентябре…
— Храни вас Бог, Марк Васильевич,— произнёс фельдшер изменившимся, печальным голосом.— И возьмите в дорогу побольше вина…

5.

Общий пограничный знак Бом-Кемчуг водружён был на невысокой каменной горе между двумя реками — там, где Бом-Кемчуг вливает свои холодные бурные воды в Енисей. Идти туда десять дней. Но сперва все казачьи отряды — Саянского, Кебежского и Шадатского, Арбатского и Таштыпского форпостов — сойдутся в селении Означенное.

…Таштыпский форпост, наравне с Саянским, ещё в марте 1852 года генерал-губернатор Восточной Сибири переименовал в станицу. С тех пор центром казачьего управления стал Таштып, стоявший на левом берегу речки Таштып. В селении — до двухсот домов, каменная церковь, приходская казачья школа, по воскресеньям бывают значительные базары. А форпост Арбатский ничего этого не имел. Форпост есть форпост — фортификационное сооружение, состоящее из четырёхугольного рва, обнесённого рогатками в два ряда из толстых, заострённых сверху брёвен, с башнею над воротами и высокой казармой с одного бока, обращённой к реке Абакан и почти висящей над каменным обрывом. Казаки там несут караульную службу, сменяясь каждые три недели, после чего возвращаются в станицу, где продолжается их служба в строевых сборах, учебных занятиях, инспекторских смотрах, в ремонте амуниции и обмундирования, в уходе за лошадьми…

Марк Суриков только что воротился из Арбатского форпоста, где провёл инспекторскую проверку наличного состава казаков, и сразу же собрался в другое путешествие, уповая только на Бога, выносливость Солового и крепкое вино, которым запасся в избытке.

Придержав коня, он оглянулся, залюбовался окрестностями станицы, лежащей на овальной возвышенности по крутому левому берегу мелководной речки, петляющей под раскидистыми тополями. Направо, и весьма близко, тянулись зелёные хребты гор, налево, за речкою, и в некотором отдалении — синие горы, а за ними — уже белые, снеговые тасхылы…

Здесь Марку нравилось всё: и эта ровная солончаковая степь с древними могильниками, и эти такие разные горы, и быстроструйные, с буйным характером, реки, и это чистое голубое небо с редкими, точно пушинки, белыми облаками, и сама станица Таштыпская с её людьми. О девушках здешних некогда губернатор Степанов сказал, что они «стыдливы и прелестны собой». Он бесконечно благодарен старшему полковому фельдшеру Смелянскому и своему дядюшке, покойному атаману Александру Степановичу, которые направили его сюда. «Бедный дядюшка! Я тебя даже похоронить не смог…»

К пограничным знакам казаки шли охотно, и даже не столько потому, что избавлялись от повседневных скучных занятий, предписанных уставом, сколько из-за счастливой возможности что-нибудь у монголов или китайцев выменять. Они вели с собою лошадей, навьюченных фуражом, провиантом и товарами для мены, тем более что торговля с иноземцами с недавних пор им дозволена беспошлинно.

Отряд вышел к реке Абакан, стеснённой здесь величественно дикими, но повсюду живописными берегами, прошёл по ещё крепкому льду на север, мимо зубчатой горы Тигрытыш, за устьем Караджуля, мимо высокой горы Кемзе, от которой горы левого берега Абакана отклоняются далее на запад, к устью Иссы и высотам Тюртюба, и в селении Монок остановился на ночлег. Развьючив лошадей, казаки повели их к утёсам, где днём подтаивало и где проглядывала старая трава. Такую траву

казаки называют «ветышь» — какой-никакой, а подножный корм, лошади пока обойдутся этим.

Монок — небольшая и чистая деревенька, заселённая отчасти казаками, отчасти крестьянами и оседлыми инородцами. В просторном доме сагайского родовича, куда казаков привели на ночлег татары, было грязно и людно. Посреди избы на подстилке из конских шкур сидел старый седой хайджи[14] с реденькой бородкой, одетый в длинную и широкую в подоле красную рубаху из китайского ситца, и, держа на коленях чатхан[15], задумчиво перебирал пальцами тугие струны из воловьих жил. Временами он оживлялся, и тогда его тонкие пальцы быстро-быстро бегали по струнам, извлекая то тихие, то бурные звуки незнакомой восточной мелодии. Кружком расположились перед ним татары и слушали, замерев, как каменные идолы в степи.

Марк и его спутники не мешали им. Сытые после обильного ужина, устроенного для них татарами, лёжа на мягких кошмах[16], на перемётных сумах вместо подушек, они тихо переговаривались. Хайджи, настроив чатхан, запел мягким, переливчатым, как журчанье ручья, хаем[17]. Смуглое лицо его, оттенённое чистой сединой, одухотворённое светлой мыслью, внезапно преобразилось, что-то древнее, неведомое чудилось и в лице, и в раскосых глазах, и в горловом пении, которое завораживало, держало в напряжении.

— О чём поёт хайджи? — спросил Марк.

— Это старый-старый сказка, косподина офицер, — тихо ответил толмач. — Курган поёт — их зовут чатас, народе поёт, который нет Белого царя.

— Переводи подробней, — попросил Марк.

В старое время, переводил толмач шёпотом, в абаканских степях жил народ храбрый и никого не боялся. Шаманы-апсахи узнали судьбу его и всем рассказали, что как только появится дерево берёза, которое никогда раньше не произрастало в этих краях, то сейчас же придёт с несметным числом своих воинов Белый царь и покорит Сибирь. Берёза появилась. А вскоре и слухи пошли, что богатыри Белого царя уже подходят к минусинским землям.

Далее хайджи пел, что придёт время, когда ни одного инородца не останется в Сибири, что все они перемрут под тяжким бременем русских, — и этот последний мрачный аккорд поверг слушателей в смятение. Некоторые мужчины плакали, женщины голосили, дети испуганно жались к матерям.

Но тут хайджи внезапно сильно ударил по струнам и как бы воспарил над чатханом. Беспристрастное лицо его оживилось, в тёмных глазах-щёлках засветилось торжество.

Русские, переводил толмач, не такие варвары, какие были в старое время, теперь они — лучшие наши друзья…

Едва наметился рассвет, а хозяева гостеприимного дома были уже на ногах. Поднялся, кряхтя, и старый хайджи. Сейчас молодые парни Кулай и Микель запрягут в коляску лошадь и отвезут его в Табат, где он также будет петь, прославляя храбрецов незнакомого племени, похоронивших самих себя с приближением русских.

Сопровождавшие отряд навершные татары воротились в Таштып. Далее — до Иудиной, где живут молокане, до Табатской, Бейской, Сабинской, до самой Означенной деревни — сопровождать его будут качинцы.

Через Иудину и Табат — всего тридцать вёрст, отряд пройдёт без остановок, решил Марк, и заночует лишь в селении Бейском, одном из лучших в Минусинском округе. Но от Табата до Беи восемнадцать вёрст: смогут ли вьючные лошади одолеть весь путь от Монока почти в пятьдесят вёрст по горным тропам? Согласятся ли казаки поспешить, если в Означенном всё равно они будут к сроку?

И Марк отказался от первоначальной затеи. Значит, с хайджи они ещё могут встретиться.

После обильного ужина с аракой казаки спали крепко и раскидисто. Марк растолкал их и велел собираться в путь, пристыдив, что вон и старый хайджи уехал, и татары уже сидят на конях, ждут.

— Чё так рано-то? — ворчал Семён Сипкин.

Фёдор Юданов ткнул его пяткой в спину:

— Эх ты, назузился, как суслик… мякинное твоё брюхо!

Сипкин зашевелился, встал на карачки и сел, обхватив голову руками.

— Чё, башку обнесло?

— И не говори, Федя, — простонал Сипкин, шаря по кошме руками. — Ремень куда-то запропал…

— А ты его вместе с саблей и ружьём под голову положил. Чё ли, забыл? Или спьяну ничё не помнишь? — Юданов посмотрел на Марка. — А ты, ваше благородие, так и не спал? Вид у тебя — впору в гроб уложить. Оно, конечно, разве уснёшь? Сперва этот певец до полуночи горло драл, потом этот зюзя Сипкин на дурничку надрался, всю ночь шилом вертелся, а потом храпел, как старый конь. Я его пну в бок — затихнет, потом опять его раздирать начнёт. И ты, хорунжий, всю ночь кашлял…

— Отоспимся в Табате, — сказал Марк, застёгивая шинель на все пуговицы и крючки. — Придём рано, покормим лошадей — и сразу спать.

Надел портупею с пистолетом и саблей, продёрнул наплечный ремень в прорезь под эполетом, поправил папаху и беззлобно пригрозил:

……

14. Хайджи — сказитель, исполняющий песни, сказания, легенды *(татар.)*.
15. Чатхан — щипковый музыкальный инструмент *(татар.)*.
16. Кошма — кочма, войлок из овечьей шерсти *(татар.)*.
17. Хай — горловое пение, отсюда — хайджи *(татар.)*.

— Но смотрите мне, больше так не напивайтесь!..

Так уж со времён Степанова повелось — на земском тракте, со станции к станции, до самого Минусинска, сагайцы и качинцы добровольно сопровождали и статских чиновников, и вооружённых казаков, тем самым выказывая русским своё безмерное уважение. И казаки не отказывались от услуг татарских доброхотов.

От Монока и далее, до Иудиной, места ровные — луговые и хлебопахотные слева, а справа тянутся холмы гор Сабинских, изредка покрытые лесами. Отдохнувшие лошади шли легко и даже, несмотря на тяжёлую поклажу, пробовали рысить; казаки придерживали их, чтобы не запалились.

Не останавливаясь, прошли сквозь деревню Иудину, заселённую сосланными сюда из разных мест России субботниками и молоканами. Князь Костров говорил, что «эти люди весьма кротки, послушны и как нельзя более трудолюбивы».

— Почему их так прозывают? — поинтересовался Дмитрий Байкалов. — Молока много пьют?

— Кто их знает? У князя надо спросить...

— Точно, много молока пьют, — сказал Байкалов, поглядывая по сторонам на белёные мазанки, на богатые подворья, на чистеньких молоканок, хлопочущих по хозяйству. — Эвон как, по две-три коровы держат! — и, помолчав, спросил: — А пошто деревня Иудиной прозывается? Вроде не евреи живут. Не иуды вроде... Пошто Иудино-то?

— Деревню они построили сами, назвали Обетованною. Но как-то побывал здесь губернатор Падалка, походил, посмотрел — ни церкви, ни икон, ни божественных книг — и возмутился: «Обетованная? Вот я вам покажу Обетованную, иуды, безбожники! Иудина, а не Обетованная!..» Воротился в Красноярск и переименовал деревню.

— И давно это было?

— Кажется, в пятьдесят первом году...

Версты три от Иудиной ведёт в сторону небольшой горный хребет. По словам иудинцев, здесь найдена была медная руда, откуда её возили на частный медеплавильный завод, стоявший на реке Лугавке, близ села Лугавское. Отсюда дорога плавно поползла вверх, казаки спешились и повели лошадей в поводу. Марк оставался в седле — его Соловый менее навьючен, только мешок с фуражом да аргымах с провизией и вином — вот и вся поклажа. В другое время он с удовольствием прошёлся бы пешим, но сегодня его чаще, чем обычно, донимал кашель. Портилась погода: с вечера бушевал ветер, а к утру степь оголилась до земли, — и Марк эту перемену чувствовал на себе. Он всё чаще доставал бутылку с вином, делал несколько глотков, успокаивался, но ненадолго: едва кончалось действие алкоголя, как начинался кашель...

В Табате, прислонившейся к подножию горы деревне, отряд переночевал. Набрался сил и отправился дальше, до Беи.

За Табатом кончается кочевье сагайских татар и начинается родоначалие небольшого бедного племени койбалов, хорошо говоривших и по-русски, и по-татарски.

— В тридцатом году, — рассказывал Фёдор Юданов, — красноярский мещанин Пороховщиков нашёл на Табате признаки золота листочками, но весьма слабые. Была осень, ранние морозы не дали сделать ни единой хорошей промывки. Уехал до весны. А потом и он, и многие другие промышленники побывали там, но ничего не нашли.

— Знать, не далось им золотишко-то, — позавидовал Сипкин. — Эх, я бы на месте того мещанина... Такой фарт упустил!

По обеим сторонам дороги всё чаще стали попадаться клади необмолоченного хлеба. Потом рано выпал снег, и крестьяне оставили в кладях часть урожая до весны, когда можно будет обмолотить его и пустить на фураж.

Но вот и село Бейское. Оно стоит в голой, довольно скучной степи, лишённой даже бурой осенней травы. Отсюда на Означенное путь лежит через деревни Калы, Сабинку. Кругом безводная степь. По правую руку синеют вдали Саянские горы.

Недалеко от Означенного некогда путешествовавший здесь доктор Кастрен обнаружил на одном из чудских курганов камень с рунической надписью, о которой ещё раньше упоминал Паллас. Минусинский окружной начальник князь Костров тоже о нём рассказывал. Марку захотелось увидеть этот знаменитый камень, и он свернул с дороги. Следовавшие за ним казаки забеспокоились:

— Ты куда, ваше благородие?

Марк махнул рукой:

— Идите, я догоню вас! — и пустил Солового вскачь к одному из курганов с торчащими из земли плоскими камнями, обнимающими древний могильник.

Но тот камень, о котором говорил князь Костров, со временем упал и так был занесён песком, что Марк едва отыскал его. Он имел вид грубо отёсанного параллелепипеда длиною в три аршина, шириною в сто четыре вершка и толщиною в пять вершков — такой, каким описал его небезызвестный Паллас. Он же отмечал, что на трёх его сторонах высечены неизвестные литеры «глубиною от 2 до 3 линий». Четвёртая — ребровая — сторона камня надписи не имела. Очистив поверхность камня от песка, Марк подозвал толмача.

— Что написано тут, Кызылчак?

Толмач долго вглядывался в таинственные знаки — и так, и этак вертел головой, заходил то справа, то слева, то опускался на колени, то ложился на живот и водил указательным пальцем по шероховатым углублениям, — но прочесть не смог.

— Шибко трудно, тут учёный люди нужны!

— Ну а что означают эти знаки?

— Конь. Хозяин или хан. Колчан. Стрелы. Герой помирай. Молодой, вот как ты, господина офицера.
— Слава Богу, хоть что-то выяснили… А что за герой?
— Чудно, однако! Шибко старое время!
— Ладно, Кызылчак, поехали!

Но, отъехав немного, Марк остановился, вынул из внутреннего кармана шинели карандаш и блокнот в кожаном переплёте с золотым обрезом. По совету князя Кострова он теперь зарисовывал всё, что привлекало внимание. Сделал эскиз и этого могильника.

Сабинские татары сопровождения, не доезжая Означенного, повернули назад и с гиканьем, с гортанными возгласами, будто участвуют в состязании женихов, помчались по степи.

Означенное — последнее селение в русских пределах, дальше нет ни пути, ни поселений. Дальше — Монголия.

Селение стоит на левом берегу Енисея, с юга и запада его обнимают, по уверениям Степанова, мраморные, яшмовые и порфирные горы: «Две цепи их стоят одна против другой…»

История возникновения селения Означенное любопытна и удивительна. Старшины татарских племён упросили русского царя защитить их земли от набегов кочевников. Пётр Первый издал указ, и в 1707 году между горами Унюк и Туран была построена Абаканская крепость. Но поскольку она была удалена от Енисея при выходе его из саянских теснин, казаки решили построить Саянскую крепость и обозначили место на левом берегу реки, вблизи Майнского порога. И снова задумались: ведь крепость, не защищённая Енисеем, может легко подвергнуться нападению со степной стороны. Проект изменили и построили крепость на правом берегу Енисея, а местность у Майнского порога с тех пор так и стала называться — Означенной.

Со временем ойротские, киргизские и другие воинственные племена откочевали за Саяны, в Джунгарию, на Енисее воцарился мир. Абаканская и Саянская крепости потеряли оборонительное значение. Казачьи гарнизоны занялись земледелием. Вблизи крепостей стали селиться крестьяне, возникли заимки и деревни.

В 1830 году на «означенное место» приехал на четырёх подводах крестьянин из деревни Очуры Василий Саломатов с тремя сыновьями. Огляделся — место понравилось: кругом обилие сенокосных угодий, целину можно распахать под пашню, в тайге водятся соболь, белка, марал, медведь, лось… Срубили мужики каждому по избе — вот уже и деревня, а как назвать её — и выдумывать не надо.

Енисей здесь узок, несётся стремительно. Посреди реки торчит огромный гранитный камень, вода бьётся об него и кипит белым ключом. Чуть повыше — другой такой же камень. А по берегам громоздятся скалы чёрно-бурого кремнистого гранита. В пятнадцати верстах висит над Енисеем с правой стороны огромная голая гора Тасхыл с глубокими расщелинами, сбегающими вниз и заполненными снегом, — будто вылили на нее нечто белое, и оно растеклось многочисленными ручьями. С левой стороны — другая такая же гора…

Таштыпцев здесь уже поджидали саянские, кебежские и шадатские казаки — с каждого форпоста по семь человек, в Означенное их привёл старший урядник Кузьма Саломатов.

И Саянский, и Кебежский и Шадатский форпосты составляют одну станицу, местоположение её — сельцо Саянское, стоявшее в десяти верстах от Означенного на правом берегу Енисея, «на рукаве… углублённом в материк наподобие прекрасного канала, над которым навислые деревья составляют густой свод».

Саянский форпост, состоящий из редута с башнями по углам, «сидит в равнине» и совершенно разрушен.

Форпост Кебежский — и старый на речке Ое на юго-востоке от села Шушь, и новый на холме при устье двух речек Суетук, которые, соединяясь, впадают в Ою, — тоже не пощадило время.

Форпост Шадатский стоит на отлогой возвышенности и никаких укреплений не имеет. К нему надо ехать из Кебежа степной дорогой, через гряды холмов, через берёзовые перелески, до речки Казга-тубе, за которой виднеется высокая гора Камыш-таг.

Как пишет Степанов, все эти форпосты «составляют рассадник полка, пополняя его молодыми людьми и поддерживая старинный обычай надзирать над границею». Места здесь прекрасные, лучшие во всей Енисейской губернии, ибо «природа наделила их всем в изобилии».

Поначалу в каждом форпосте был свой управитель или дозорщик, но впоследствии остался только дозорщик, наблюдающий за всеми форпостами. Жил он в Саянске и время от времени объезжал пограничные караулы или посты.

Тобольская губернская канцелярия беспрестанно повелевала иметь «всетвёрдую» и крепкую осторожность и, «буде где паче чаяния, и от чего Боже сохрани! будет приход неприятельских людей или воровское их неприятельское собрание, в каких-либо местах внутри или близ Русских жилищ и Ясашных волостей, и о их шаткостях уведано будет, то за таким злохитрым, ветреным, легкомысленным неприятелем, не упуская нимало времени, чинить крепкие, вооружённою рукою, поиски и воинские отпоры».

Но никто никогда на русские земли в Присаянье не покушался, караулы бездействовали, казаки обленились и оружие применяли, разве только охотясь на диких зверей. Укрепления форпостов постепенно ветшали и к середине семнадцатого

столетия совсем развалились. А когда дозорщик в 1732 году донёс в Тобольск «о дурном положении Саянского форпоста», то починить его было дозволено аж… через десять лет. Но и через десять лет денег на починку не ассигновано, а снаряжено сто пятьдесят казаков «к срубке и поставке леса для поновления заплотов, рогаток, рвов и надолбов». Причём было приказано, «чтоб рабочих как наискорее выслать и чтоб они не отговаривались; а также смотреть, чтобы прилежно работали; ибо починка де необходимо нужна». А до починки так дело и не дошло.

Через двадцать лет, испросив дозволения заселить места по берегам Абакана и Таштыпа, близ пограничных караулов с тем, «чтобы поддержать их всегда в исправности как им, так и потомкам их», казаки основали близ форпостов хлебопашеские поселения…

Поскольку командир пятой казачьей сотни Марк Суриков (а до него есаул Кребер) имел квартиру в Таштыпской станице и редко бывал в этих краях, то Кузьма Саломатов, как станичный начальник, избранный казачьим кругом на три года, пользовался в Саянске почти неограниченной властью.

— А ты пошто, ваше благородие, сам-то на знак пошёл? Выдюжишь ли? — удивлённо, с некоторой долей неприязни, потому что придётся уступить власть старшему по чину, спросил Саломатов и кивнул на своих станичников, расположившихся кружком у костра. — Мои-то архаровцы хоть и обвесились перемётными сумами да вьюками, однако же легки на ногу, пойдут быстро!

— Ничего, выдюжу, — озлился Марк, задетый недоброжелательным тоном, заносчивостью своего подчинённого.

Саянцы, кебежцы, шадатцы — молодые, жизнерадостные, свежие, как будто только что подняты с постели, — притихли, посматривая на приближающегося зауряд-хорунжего, потом нехотя встали. Их лошади, навьюченные фуражом, продовольствием и товарами для мены с монголами, паслись неподалёку, копытя снег. Марк поздоровался с казаками, они ответили ему громко, но вразнобой.

— Когда отправляемся, урядник? — обратился Марк к Саломатову.

— Ты командующий сотней, тебе и решать, — холодно ответил Саломатов. — А я готов хоть сейчас…

— Мои ребята устали, должны отдохнуть.

— Отдыхайте, мне-то чё…

Рано утром отправились в путь.

Там, где в Енисей вливается река Бом-Кемчуг, состоящая из двух горных потоков — Бом и Кемь, между обоими потоками на невысокой, но каменистой горе водружены пограничные знаки. К ним надо идти сначала вверх по правому берегу Енисея, потом вдоль речки Голубой через горы и тайгу, по спёкшемуся снегу. Хорошо подкованные лошади, кроша наст, то тяжело взбирались по кручам, то, оскальзываясь, осторожно спускались в лощины. В день отряд проходил по двадцать — двадцать пять вёрст, через каждые три часа делал привал, развьючивал лошадей. Разговоры у казаков вертелись вокруг скорой выдачи им жалованья и порционных денег.

— В апреле должны выдать деньги на фураж, мясные порции и соль, — сказал казак.

— Как же, жди! — сердито заметил другой. — В прошлом годе выдали аж в июне. А потом — в октябре. Два раза в году выдают, не знашь, чё ли?

— А ноне, я слышал, раньше дадут: генерал Муравьёв распорядился по случаю грядущей битвы на Дальнем Востоке.

— Ага, дадут… Догонят и ещё дадут!

— Господин хорунжий, ваше благородие, — обратился к Марку первый казак, видя в нём прежде всего авторитетного, грамотного, всезнающего офицера. — Скажите этому Фоме неверующему, что выдадут нам деньги в срок из провиантского магазина…

Марк, выпив немного вина и успокоив кашель, привалился спиною к дереву и, кажется, задремал, потому не сразу сообразил, что обращались к нему.

— Да-да… — Марк открыл глаза. — А в чём дело?

— Да вот… в апреле, говорят, мы деньги получим.

— Получите, — подтвердил Марк. — Не в апреле, а в мае.

— Пошто так-то?

— В апреле получат ближайшие к Красноярску станицы, а до нас пока дойдут — вот тебе и набегает лишний месяц.

— По сколь хоть дадут-то?

— По девяносто восемь с четвертью копейки серебром каждому служащему нижнего чина. Полковой казначей зауряд-хорунжий Затрутин при мне составлял раздаточную ведомость.

— А походные деньги получим?

— За что тебе походные-то? — насмешливо возразил первому второй казак.

— За поход на пограничные знаки, вот зачем!

— Держи карман шире…

Пришлось Марку вмешаться.

— Походные деньги, — сказал он, — полагаются для мобилизованных на театр военных действий, а вы же не на войну идёте… Это ваша обязанность — наблюдать пограничные знаки. Господин старший урядник! — позвал Марк Саломатова. — Почему не объяснил молодым казакам таких вещей?..

— Ещё объясню, — буркнул Саломатов, и было непонятно, как он это сделает: накажет казака за незнание «таких вещей» или же соберёт станичников и прочтёт им «Положение о казачьих полках», — Кузьма Саломатов был человеком непредсказуемым.

— Кстати, — вспомнил Марк, — по окончании посевов хлебов распорядись об исправлении дорог,

мостов, гатей, пролегающих в участках казачьего ведомства.

— Что, уже и приказ есть?

— Приказа ещё нет, но опыт подсказывает — скоро будет. Предупреждаю заранее. А то получится как в прошлом году: бумагу ты получил с опозданием, начал работы, а тут — сенокос, ну, всё и бросили… Тогда я не доложил об этом случае в штаб и получил выговор.

— Будет приказ — распоряжусь, — упрямился Саломатов.

— Господин старший урядник! — Марк повысил голос. — Я тебе приказываю! Нужна бумага? Сейчас напишу! — Достал блокнот и карандаш, черкнул несколько строк, вырвал лист и подал Саломатову. — Это тебе мой приказ! И попробуй не выполнить…

— А не будет ли это подменой высшего командования, ваше благородие?

Хитрый и самолюбивый, коварный и властный, саянский станичный начальник знал, что говорил. В мае 1853 года, когда сотенный командир самовольно разрешил крестьянам устраивать загонные огороды для ловли диких коз на казачьих угодьях «без испрошения на то предварительного разрешения» командующего полком, Саломатов донёс в Красноярск Мазаровичу, в результате Суриков схлопотал выговор. В приказе всем также объявлялось: «Ни в какую переписку мимо полка не входить». И вот тебе пожалуйста — опять самовольничает зауряд-хорунжий!..

Однако и Марк знал, что делал. Он всем хотел только добра, ибо уверен был, что приказ из штаба полка, как всегда, запоздает, время будет упущено, и опять Саломатов ничего не успеет сделать. Он также знал и то, что этот его «самочинный» приказ будет опротестован, о чём Саломатов непременно донесёт Мазаровичу, и всё-таки позволил себе вновь проявить самостоятельность.

— Выполняй приказ, — твёрдо проговорил Марк и поднялся, громко, чтобы слышали все, скомандовал: — Подъё-ём! Отдохнули? Надо идти…

Казаки бросились ловить лошадей, закинули через сёдла тяжёлые вьюки, мешки, перемётные сумы и ждали новой команды.

День был ясным, безоблачным, и воздух на фоне белого-белого снега дрожал голубым прозрачным маревом. Снег, мерцающий радужными искрами, солнце и даже воздух до боли слепили глаза. Казаки низко надвинули на глаза папахи, щурились, чаще смыкали веки и шли вслепую, доверившись лошадям, не раз бывавшим на пограничных знаках. Саломатов шёл впереди, ведя коня в поводу, Марк замыкал растянувшуюся цепочку верхом на своём Соловом.

Кочевье койбальского родоначалия осталось позади, впереди — кочевья кызыльцев, или сойотов. Но ни табуна коней, ни стада сойотских быков, ни юрт, ни единой живой души впереди — одно немое сверкающее пространство.

Вскоре стали попадаться круглые сойотские юрты в долинах, у горных ручьёв. Остановились на ночёвку в одной из юрт, хозяин которой, плосколицый кызылец, весь изрезанный морщинами, напоив гостей чаем, перебрался в соседнюю юрту.

Среди ночи Марк проснулся от удушья и, чтобы не потревожить спящих казаков своим кашлем, вышел на воздух, прихватив с собою бутылку с вином.

Ночь была тихая, звёздная, таинственная среди величественных гор. Фыркали пасущиеся неподалёку лошади; вместе с хозяйскими быками они мирно хрупали сеном, разбросанным по поляне. Где-то ревел марал.

Вино помогло Марку и на этот раз. От лёгкого головокружения и свежего горного воздуха, оттого, что не теснило в груди и легко дышалось, Марк пришёл в весёлое возбуждение, хотелось поговорить, и он обрадовался, когда из юрты к нему вышел толмач Кызылчак, во всё время пути не оставлявший сотенного начальника одного. Он спросил, не надо ли чего господину офицеру, и успокоился, увидев улыбку на его болезненно заострённом лице.

— А ты чего, Кызылчак, не спишь? — Марк отечески похлопал его по спине. — Не спится? Или — бессонница у тебя?

— Ты не спишь — я не сплю, — ответил толмач серьёзно. — Велено, однако, беречь тебя.

— Кем велено, Кызылчак?

— Начальник Таштыпа Чанчик говорил: ты, Кызылчак, шибко умный, береги господина офицера…

— Ну что ж, давай поговорим…

Вдруг ночную тишину потревожил чей-то громкий гортанный говор не говор, крик не крик.

— Едет кто-то, — пояснил Кызылчак, — едет и ругает коня.

Затем послышался кашель, свист, как свистят разбойники в тайге, и долину огласило заунывное пение. Всё это приближалось и вскоре обрело плоть и душу: из мягкого полумрака выступила тёмная фигура на тёмном коне. Марк высказал мнение, что человек этот совершенно невоспитанный, если позволяет себе, подъезжая к стойбищу, так вести себя. Кызылчак сказал, что человек, наоборот, хороший и честный, а ведёт себя так потому, что хочет обратить на себя внимание, чтобы живущие в стойбище знали: едет добрый сойот, не вор, который обыкновенно прячется.

…Ночуя в расщелинах скал, в неглубоких пещерах, если ночь застигала в горах, и под сенью могучих сосен в долинах, питаясь размоченными в воде сухарями, варёными куриными яйцами, вяленой сохатиной, копчёными тайменями и домашними постряпушками, обожжённые ослепительным

горным солнцем, усталые, почерневшие, заросшие колючей щетиной и полуслепые, на десятый день пути добрались наконец казаки до пограничных знаков на Бом-Кемчуге, отделяющих Енисейскую губернию от Монголии. Большой деревянный крест стоял на русской территории, высокий деревянный столб, обложенный камнями,—на сопредельной.

Объездный монгольский отряд из пятнадцати верховых сойотов, кочующих на южной стороне Саянских гор, под командой дарги первым взошёл на Бом-Кемчуг.

Дарга терпеливо ждал, пока русские не развьючат своих лошадей и не приведут в порядок самих себя. Ждал, когда русский урядник сделает шаг в его сторону, чтобы дать команду своим людям спешиться и самому двинуться навстречу. Но у казаков произошла заминка, для него непонятная, и он стал заметно нервничать.

А заминка выразилась в том, что старший урядник Саломатов заупрямился: мол, не может он участвовать в церемонии встречи, когда есть на то старший по чину, не может перешагнуть через голову: идти должен Марк…

Промедление могло обернуться дипломатическим курьёзом, и кто его, даргу, знает, что может он в этом случае предпринять? Помогло избавиться от неприятностей то внезапное обстоятельство, что Марк вдруг опять почувствовал удушье.

— Иди, Кузьма Иванович,—взмолился Марк, с трудом сдерживая рвущийся наружу кашель.— Видишь, я долго не выдержу… мне худо.

И Саломатов пошёл.

Марк укрылся за крупом коня, сделал несколько глотков вина из бутылки и только после этого посмотрел вслед удаляющемуся старшему уряднику.

Монголы спешились и молча следили за каждым движением своего дарги. Казаки тоже замерли, и двадцать пар напряжённых глаз впились в широкую спину своего начальника.

Наступал торжественный момент: вот сейчас… сейчас они сойдутся, сойдутся представители двух великих держав—два урядника, неторопливо и с достоинством идущие навстречу друг другу. Сейчас они протянут навстречу друг другу руки, сойдутся и обнимутся, как братья.

Они шли по нейтральной, ничейной земле: дарга—от своего столба, русский урядник—от своего креста,—и остановились друг против друга, но не обнялись, как ожидали казаки, а поклонились в пояс друг другу, после чего соединились в долгом и крепком рукопожатии. В этот момент, как того требовал международный дипломатический этикет, с обеих сторон одновременно двинулись навстречу друг другу оба толмача и встали каждый подле своего начальника, по левую от него руку.

Марк с интересом наблюдал церемонию свидания пограничных дозорщиков, думая о том, что этой сцены, если бы пошёл он, а не Саломатов, ему не суждено бы увидеть. А потом подумал, что он сделал правильно, что отправил на «свидание» Саломатова: много чести уряднику-иноземцу вести переговоры с русским офицером…

Тем временем, не расцепляя рук, урядники вели через толмачей обязательный в таких случаях диалог.

Дарга:

— Здоров ли ты, голова? Каков был ваш путь? Здоров ли ваш государь? Благоденствует ли народ ваш?

Саломатов:

— Государь наш милостию Божией здравствует, а народ благоденствует. Я здоров, того и тебе желаю. Путь наш сюда был нетруден и в радость нам. А ты здоров ли, дарга? Здоров ли ваш император? Благоденствует ли народ ваш?..

Дарга ответил, что все здоровы и народ благоденствует, что путь их на Бом-Кемчуг был также в радость, после чего оба разжали пальцы и опять поклонились в пояс друг другу. Потом дарга повернулся, выкрикнул какое-то приказание, среди соплеменников возникло движение, и, точно по волшебству, из-за спин своих товарищей выступили два коренастых монгола, держа за ноги на своих плечах по барану. Толмач перевёл: это подарок «урусам» от благословенного дарги.

Саломатов растерялся—надо же чем-то отдарить!—но не подал виду.

— От те раз! Как стал, так и околел,—выругался он. И толмачу:—Кызылчак, это не переводи. А сходи-ка до моего коня и достань из перемётной сумы курительный табак. Брал на мену, а придётся отдавать так…

Дарга и Саломатов обменялись подарками, поклонились друг другу, и каждый подал знак своим товарищам.

И с той, и с другой стороны сошлись на ничейной земле отряды дозорщиков: русские казаки оставили оружие, взяв с собою только товары для мены; монголы отложили колчаны со стрелами и луки—вооружение пикетчиков—и тоже внесли в круг свои товары. Казаки знали: на торге русские товары очень ценятся у монголов, особенно у сойотов, в то время как их товары оказываются совсем дешёвыми. За русские товары стоимостью, например, в один рубль ассигнациями дают товары стоимостью в пять рублей. Саломатов потому и огорчился, что за фунт табаку он мог бы получить «шубу войлока», то есть столько войлока, сколько требуется на шубу, а это—пять рублей ассигнациями. За фунт железа дают две овечьи шкуры, а это тоже немало. Так что такая торговля, или мена, для русских весьма выгодна. Русские ввозят в Монголию юфть, бумажные ткани, сукно, железо, галантерейные изделия и оттуда гонят стада крупного рогатого скота, берут все, что им нужно.

Дозорщики сошлись, здоровались за руку, знакомились через толмачей, хлопали друг друга по плечам, смеялись, были возбуждены и веселы. Это был праздник для обеих сторон, и они использовали этот день как хотелось им, чтоб долго помнился. В общем торгово-меновом действе Марк участия не принимал, а смотрел со стороны на этот маленький шумный «восточный базар». Монголы сильно отличались от русских казаков тем, что были бедны, это сразу бросалось в глаза: короткие кожаные штаны, сапоги, шуба и круглая шапка, обшитая тяжёлым овечьим мехом,— и всё это заношенное, засаленное, дурно пахнущее. Про них говорили, что мужчины в Монголии непривычны к труду, трусливы, беспечны и никогда не ходят пешком, что раньше они много воевали с китайцами, теперь же забыли о своей воинственности, умиротворённые Китаем.

Мена с обеих сторон быстро закончилась, товары отнесены к своим лошадям в безопасное место, и началась традиционная пирушка. У тех и других нашлись немалые запасы вина, китайской ханши, монгольской молочной водки и водки русской. Тут же зарезали дарёных баранов и на костре, обложенном камнями, жарили мясо, ели его полусырым, отрезая кусочки острым ножом прямо возле губ и запивая вином.

Марк тоже пил — молочная водка показалась очень слабой, достал своё вино,— и тоже рвал зубами сочное, подгорелое с краёв баранье мясо, макая его в соль. Скоро он захмелел и тоже веселился, что-то говорил дарге, который лопотал что-то на своём наречии, улыбаясь и пытаясь обнять русского офицера. Вероятно, он был счастлив, этот немолодой уже монгольский урядник с бритой головой и жиденькой бородкой, одетый во всё синее — любимый цвет монголов, счастлив тем, что разговаривает с русским офицером. Редко кому из его соплеменников это удавалось.

Марк подозвал своего толмача и спросил, из какого племени эти сегодняшние их друзья, и Кызылчак, не задумываясь, ответил: из халхасцев. Потом он стал объяснять, что монголы распадаются на западных, южных и северных. Северные племена — халхасцы, они ближе к нашим татарам.

— А наших татар как называют монголы?

— Халхасцы.

— А китайцы?

— Хягас, хягасы.

— Ты смотри-ка, вот это связь! — удивился Марк.

Пирушка продолжалась, кто-то из казаков затянул: «Не одна во поле дороженька»,— монголы тоже запели что-то своё, родное,— получилось нечто сумбурное, полудикое, полуразбойное в пьяной разноязыкости… И, как всегда бывает в широких русских гулянках, один из казаков, самый весёлый и озорной, вдруг пустился в пляс, его поддержали два-три его товарища. Оборвав пение, и остальные повскакивали с мест. Монголы затеяли свой национальный танец, изображающий, надо полагать, торжество.

— Ие-эха-а!.. У-у-у! — подчёркивали звуками ритм танца.

— И-эх, мать твою!..— разгорячённые, в неудержимом азарте выкрикивали казаки.

Уже и толмачи никому не понадобились — всё и так было всем понятно: в песне, в пляске, в жесте, в мимике без труда угадывалось то, что могло быть высказано словами.

Мартовское солнце смеялось. Чёрные камни отбрасывали на белый, точно сахарный, снег голубые тени. И голубые же тени отплясывали танец сумасшедших…

Внизу, верстах в двух, в долине паслось стадо сойотских быков, и кому-то взбрело в голову прокатиться на них. Бросили клич, казаки вроде захорохорились, а монголы эту затею не приняли: дескать, чужая сторона, не имеем права.

Сойоты, да и монголы тоже, ездят на быках: седлают, взнуздывают, как лошадей, с тою лишь разницей, что на быков у них нет удил, однако уздечку пропускают через кольцо, продетое сквозь перегородку в ноздрях. На быках они перевозят грузы, ездят на охоту, в гости; быки бегут быстро, почти как лошади, и при этом так мрачно ревут, что непосвящённому становится жутко.

— А чем же мы хуже туземцев, а? — выпятил грудь колесом один из саянских казаков.— Они на быках могут, а мы чё?.. Попробовали бы они на моём скакуне…

Товарищи подзадоривали его:

— Вот ты и попробуй, Михайла!

— Да ни в жисть ему на быка не сесть!

— Пошто так?

— Да бык, он и есть бык. Скотина.

— Но ведь бык же! Сойоты ездят. Монголы ездят. Михайла тоже сумеет.

— И среди рогатых скотин попадаются буйные, без привычки и не сядешь!

— А вот и сяду! — хорохорился Михайла.

Он и впрямь решил позабавить публику. По трезвости, может, и не посмел бы (казак на быке верхом — это же стыд-срам!), но сейчас вздумал показать немытым туземцам, что русский казак не лыком шит. Вскочив на коня, Михайло спустился в долину и несколько минут метался среди быков, выбирая то ли посмирней, то ли поноровистей. Наконец выбрал, спрыгнул с коня и мигом очутился на спине быка. Должно быть, бык опешил и лишь глянул: что это такое на него свалилось? — но едва шпоры коснулись его боков, как бык пришёл в неописуемую ярость. Издав отчаянное мычание, тяжёлое и, казалось, неповоротливое животное бросилось полным карьером вперёд и понесло седока, взлягивая, подпрыгивая, крутясь волчком и пытаясь крутым рогом достать Михайлу.

Без седла и уздечки не всякий и на коне удержится, а тут — бык, свирепое создание; видать, добрый казак этот Михайла!..

Далее, как рассказывает очевидец, мычащее животное «унесло всадника при громких взрывах смеха со стороны многочисленных зрителей; после тысячекратных скачков и ляганья наш смущённый вояка растянулся на земле; единственным его утешением было то, что он доставил всему отряду четверть часа добродушного и общего веселья».

Встретили Михайлу как героя: жали руки, хлопали по спине и плечам, добродушно подшучивали. Михайло смущённо оправдывался:

— Ежели б я тверёзый был…

— Да ты и выпимши вон каки фортеля выкидывал!..

Предложили и монголам испытать удовольствие, но и на этот раз они энергично затрясли головами. Толмач перевёл: «В качестве верноподданных Небесной империи они никогда не осмеливались переходить её границы, хотя её начертание и не было определено никаким пикетом…»

6.

В конце марта отряд возвратился в станицу.

В Абаканской степи вовсю буйствовала весна: под жарким туземным солнцем в равнинах истаял снег, просохла земля, с ближних гор снег сошёл в низины шумными ручьями, реки вздулись, и вот-вот начнёт с грохотом лопаться лёд. На южных склонах пробивалась ярко-зелёная степная трава.

В отсутствие сотенного командира поступающие в канцелярию бумаги писарь Зырянов аккуратно заносил в реестр и складывал в ящик письменного стола, не читая. Не читал их и станичный начальник Чанчиков («А чево их читать-то? Не мне адресованы!»). Сколько Марк ни бился, Чанчиков упорно отказывался «засорять мозги»: не ему адресовано — и всё тут!.. В конце концов Марк отступился.

На каждую бумагу нужно давать ответ. Иногда Марк отписывал сам или диктовал писарю, и никаких недоразумений со штабом полка у него не было. Но стоило на неделю-две отлучиться, как в Красноярске начинали нервничать, слать в сотенное управление угрожающие приказы. Войсковой старшина Мазарович, бывший армейский штаб-офицер и большой педант, не допускал даже малейшего нарушения дисциплины во вверенном ему казачьем полку.

Особое раздражение у Марка вызывала переписка по различным пустякам с минусинскими властями, с родовичами Сагайской степной думы разнородных племён, с русскими священниками аскызской, бейской, таштыпской церквей, с благочинным Георгием Бенедиктовым.

Бумаги Марк разложил на две стороны стола: слева — приказы по полку, справа — жалобы, просьбы, донесения, распоряжения местных должностных лиц. С этих кляузных и скандальных бумаг он и начал первый свой рабочий день по возвращении из похода.

…По просьбе смотрителя минусинских соляных озёр Мизгирёва земский председатель Гоштофт требует распорядиться об охране Тагарского озера, «дабы инородцы, кочующие близ оного, не могли пользоваться самовольно солью в случае садки оного».

— Бумажку эту подшей, — сказал Марк писарю, — мы к ней касательства не имеем: территория шестой сотни…

— А что отвечать по делу о потраве хлеба у казака Борзова лошадьми отца Афанасия? — напомнил писарь.

— Желательно, чтобы отец Иоанн Токарев как можно скорее прибыл в Таштып для спроса людей по этому делу…

По всему видать, кляузные письма писарь читал, и не без удовольствия.

— Там есть бумага от благочинного, — начал он осторожно. — Таштыпского прихода казак Степан Байкалов свенчан в Аскызе без разрешения нашего священника и без сведений о бытии на исповеди у святого причастия. Отец Георгий недоволен.

— Ну и пусть себе сердится. Делать нам нечего, что ли, как только разбираться, кто на ком женился да почему без святого причастия? Бумагу подшей и не отвечай.

Но одна бумага раздражила Марка. Томская духовная консистория выступила с протестом по поводу приговора прихожан таштыпской Христорождественской церкви об удалении дьячка Василия Милицына из прихода «по причине развратной жизни, пьянства и буйного его характера». В это дело Марк не вникал, однако помнит: два года назад двадцать семь служащих и отставных казаков и урядников его сотни составили сей приговор. Тогда он махнул на всё рукой: пускай, мол, церковь сама разбирается. Впрочем, сама она и разобралась. Всё, о чём говорится в приговоре, «не подтверждается и опровергается напрочь тем, что из числа подписавшихся… доверяли ему обучить детей, которых у него находилось до 18 человек, что священник Гриценков свидетельством своим заверил, что он ревностно занимался обучением детей, и всегда при трезвой жизни, что подтвердил и исправляющий должность благочинного священник Бенедиктов, и что свидетельство он доставил лично его преосвященству…».

— Да что они там, в самом деле?.. Я ещё должен разбираться, почему казаки приговор подписали? Это их дело, — вспылил Марк.

— А ты дальше читай, дальше, — ласково посоветовал писарь и лукаво улыбнулся.

«…и это подтверждается тем, что до подачи сего приговора никто из них никакому начальству на

него не жаловался и что, наконец, люди, подписавшиеся под приговором, или не знали силы приговора, или сделали это по приказанию станичного их начальника или хорунжего Сурикова, с которым священник Гриценков, мыслящий против него издавна зло, имеет тесные дружественные связи». — Н-на! — Марк швырнул бумагу писарю. — И засунь её отцу Афанасию в…

Аккуратный писарь, однако, подшил и этот скандальный документ — может, когда-нибудь и понадобится.

Нервничать Марку никак нельзя, об этом предупреждал его в Красноярске старший полковой фельдшер Смелянский, однако в последнее время, особенно осенью и весной, раздражался он по любому поводу. Изнутри что-то накатывало, становилось тесно в груди, и тогда Марк начинал кашлять.

Марк достал из стола бутылку с вином. Сделал несколько больших глотков прямо из горлышка, поморщился, подождал, когда отмякнет в груди и лицо опахнёт жаром, и придвинул к себе стопку бумаг слева. Она была тоненькой, с десяток бумажек: приказы по полку, большей частью «для сведения и надлежащего исполнения». Сначала он прочёл приказы, дублирующие указы царя, затем приказы, слово в слово повторяющие указания Главного управления Восточной Сибири, и приказы командующего бригадой Иркутского и Енисейского казачьих конных полков подполковника Моллера 6-го, и уж после приступил к изучению приказов по родному полку. Из них он черпал сведения, необходимые ему, урядникам и нижним чинам в их службе, из них же получал и новости, до которых казаки были охочи и всегда спрашивали: «А чё там новенького в полку нашем?..»

«Новенького» в полку было много, и всё интересно.

«О прикомандировании к полку, к военно-судной комиссии, для увещевания подсудимых и привода к присяге свидетелей — градокрасноярского Воскресенского собора священника Иоанна Рачковского…»

«Исправляющий должность полкового адъютанта зауряд-сотник Суриков… дозволил себе войти в переписку с высшим начальством, минуя полкового своего командира, за что арестовывается на одни сутки с посажением на гауптвахту с исправлением должности…»

«…по неблагонадёжности и неисполнительности по службе сотник Неустроев отстраняется от командования 1-й сотней. В командование сотней приказываю вступить хорунжему Голашевскому. Сотнику Переслени принять под своё заведывание караульную и трубаческую команды…»

«…г-н Муравьёв предписал мне назначить на службу в Камчатку только одного урядника Семёна Серебренникова, изъявившего на то желание…»

«Горный исправник частных золотых промыслов в Южной части Енисейского округа уведомил меня, что отставной казак Никита Иванов Фёдоров (он же Карташев) от поломания правой ноги помер 10 января с.г. в больнице Сергеевского прииска княгини Горчаковой. Фёдорова из списка Красноярской станицы исключить…»

«Его превосходительство г-н бригадный командир, рассмотрев следственное дело о жестоком будто бы наказании некоторых из крепостных людей коллежского советника Коновалова, в решении своём… изложить изволил… отставного урядника Ивана Терского за неимением в деле ясных законных доказательств в отношении возводимого на него жестокого будто бы наказания им дворовой девки Анны Коминой оставить в подозрении и воспретить ему, Терскову, на будущее время определяться к должностям управляющего господским имением…»

«Казака Прокопия Дрокина за ленивые поступки и чрезмерное пьянство наказать 100 ударами розог и употребить на службу не в очередь на один год; взыскать с имущества его и прогонные деньги, употреблённые из казны во время производства следствия 8 руб. 16 коп. серебром, которые отправить по принадлежности…»

Внимательно ознакомившись с приказами, Марк передал бумаги Зырянову и велел сделать три списка с них. Писарь удивился:

— Почему — три?

— Один — уряднику Байкалову, другой — Чанчикову, третий — тебе.

— И куда же мне с ним?..

— Поедешь в Монок, прочтёшь тамошним казакам. А я отправлюсь в Арбаты. Чанчиков с Байкаловым остаются в Таштыпе. Да поговори с казаками, разъясни, что к чему… Фёдор! — позвал Марк своего денщика, скучающего за дверью.

Денщик — расторопный, послушный казак, из вчерашних малолеток, осенью повёрстанный в службу, — вошёл тотчас же и вытянулся у порога в струнку.

— Позови-ка мне приказного Козьмина, братец!

— Которого, ваше благородие?

— Михайлу Козьмина, разве не ясно?

— Это который за станичного начальника был, когда вы на Бом-Кемчуг ходили?

— Чего спрашиваешь, коли знаешь? Дуй, да поживей! Вот каналья! — сказал Марк писарю, когда денщик выскочил за дверь. — Никак не отучу от дурацкой привычки переспрашивать.

Приказный Михайла Кузьмин явился минут через двадцать. Это был пожилой кряжистый казак с седеющими висками, одетый в синий с красным суконным воротником сюртук и шаровары с лампасами, заправленные в запылённые сапоги.

Марк внимательно оглядел его с ног до головы и, придав голосу больше строгости, спросил:

— Почему не по форме? Почему сапоги не чищены? Как смеете являться к сотенному начальнику в таком виде?
— Дык… в огороде грядки копал, а тут позвали.
— Грядки он копал. Садись и рассказывай.
— Чё рассказывать-то?
— В марте было тебе предписано выдать казакам в ссуду хлеб из таштыпского экономического запасного магазина по ведомости за февраль. Так?
— Я выдал восемьдесят две четверти…
— А надо было — семьдесят семь четвертей… Почему передал?
— Дык… предписание войскового старшины. Там сказано было: выдать половинную часть наличного хлеба. Я и выдал…
— Смотри, Михайло Ананьич, всыплют нам с тобой по первое число! Впредь будь повнимательней к распоряжениям начальства. Ну, иди… И больше в таком виде ко мне не являйся.

Остался ещё один приказ, касающийся лично его, Сурикова. Марк прочёл и понял, где он сделал промашку. Надо было перед походом на Бом-Кемчуг отдать приказание Чанчикову, и он выполнил бы его, но Марк этого не сделал, и вот пожалуйста — очередной выговор, к тому же с предупреждением, что «если ещё встретится какое-либо упущение с его стороны, то будет представлено по начальству для поступления как с нерадивым офицером». А всего-то и дел, что надо было отправить в канцелярию полка ведомость о следственных делах…

«А, одним выговором больше, одним меньше — не привыкать», — махнул Марк рукой и вскоре забыл об этом, окунувшись в административные и хозяйственные дела сотни.

Весна была бурной, трудной, горячей. Скатившиеся с гор снеговые воды обрушились в реки, взломали изъеденный солнцем рыхлый зеленоватый лёд, отчего возникли заторы на островах. Речка Таштып вздулась и с яростным рёвом неслась к Абакану, покачивая ветви прибрежного тальника.

Ездившие в Аскыз и далее в Минусинск таштыпские инородцы воротились и рассказывали, что не могли пробиться из-за водополицы. Недалеко от Койбальской степной думы пересыхающая летом протока реки Абакан вышла из берегов. Вода поднялась на две сажени, затопила дорогу к селу Аскызскому и все острова, где были зимние кочевья инородцев Таражакова и Абугучаева, в ночь с шестнадцатого на семнадцатое мая разлилась по степи версты на две, причём глубина в низменных местах доходила до аршина и более. Стекая в речку Уты и наполнив её, вода залила дорогу, ведущую к селу Бейскому, и подошла к самому зданию думы и только девятнадцатого мая мало-помалу пошла на убыль. Но сообщение с улусами и селениями пока невозможно. Минусинский исправник запрашивал: «Кому в чём и на какую сумму причинило вред?» — отовсюду поступали неутешительные ответы: «…При первом удобном приезде в улусы будут составлены подробные сведения и тотчас же представлены к в. в.[18] нарочным».

Вода быстро ушла в песок, и Абаканская степь с тончайшим слоем плодородного гумуса в два-три дня покрылась зелёным ковром. А после зацвели и пикульки — дикие ирисы, похожие на кукушкины слёзки. Стебли большие, сочные, пустотелые, и так же, как у кукушкиных слёзок, по три лепестка в цветке, тоненькие, как язычки или крылья бабочки, шелестящие на ветру. Один недостаток в них: цветы не имеют запаха.

Летом травы стали жёсткими, им не хватало влаги. Жаркое лето выматывало и Марка. Едва добравшись до квартиры, он скидывал с себя портупею, пропотевшие рубаху и шаровары, исподнее и совершенно голым падал в кровать на прохладные простыни. В доме стоял тихий полумрак, свет с улицы сочился лишь сквозь щели в ставнях; воздух, прокалённый снаружи, внутри казался почти холодным, спасительным.

В летние месяцы Марк меньше кашлял и пил вино уже по привычке, успокаивая себя тем, что он предупреждает приступы удушья. Напившись, обычно лежал, мечтая, как по окончании срока внешней службы вернётся в Красноярск, в родительский дом, и первые двое суток будет просто спать при закрытых окнах.

Явился посланный им в лавку денщик, принёс две бутылки вина, сказав, что оно вздорожало нынче на две копейки, а посему он добавил свои деньги. «Ну и каналья, непременно обжулит!» — выругался про себя Марк и велел подать ему кошелёк.
— Вот тебе пять копеек, — сказал он, — и больше у этого лавочника не бери, иди к корчемщику Илье… А теперь ступай. Хотя нет, налей-ка…

Денщик сбил сургуч с горлышка, вышиб ударом ладони о донышко пробку, набулькал полный стакан. Вино было тёплое, кислое, с железистым привкусом и не понравилось Марку.
— Какая дрянь! Уксус, а не вино! Лучше бы водки взял.
— Дак водка-то дороже!
— Пускай. Зато дольше держит.
— С водки у вас обносит голову, — лукавил денщик.
— Ну и что же?

Денщик подумал, пожал плечами:
— Можа, та водка была несвежая?..
— Не болтай чепухи. Ступай.

В другой раз денщик принёс водки и сказал, что переплатил три копейки. Получив деньги, он убежал, а вечером его видели пьяным, шатающимся с девками по станице.

……

18. В. в. — ваше высокоблагородие — так титуловали татары окружное начальство, чин 5-го класса, статский советник.

В июне, с задержкой почти на месяц, писарь Зырянов получил копию приказа по войскам сухопутным, казачьим и морским, в Восточной Сибири находящимся. Приказ был издан тридцатого марта, в полку переписан пятнадцатого мая, и вот теперь список с него растерянный Зырянов держит в руках и не знает, с чего начать разговор с командиром сотни.

— Приказ, ваше благородие,— начал он, помявшись.— Написано: «Прочесть во всех сотнях». И резолюция: «Срочно к исполнению!» А как можно — срочно, ежели все сроки прошли? Вставят нам опять клистирную трубку… а мы разве виноваты, что водополица нас подпёрла, почта не могла пройти?

Марк взял у него из рук бумагу.

В приказе говорилось:

«Англо-французская эскадра в течение всего минувшего года, крейсируя с ранней весны в Охотском и Камчатском морях и в Тагарском проливе, старалась захватить наши суда, отправленные с командами из Петропавловского порта, но все попытки её остались безуспешны, от благоразумной распорядительности начальников и неутомимых трудов нижних чинов 47-го и сводного флотских экипажей. К осени минувшего года неприятель, заметя постройки наши в Де-Кастри, вознамерился уничтожить их и, разбив находящиеся там войска, хотя сколько-нибудь прикрыть свои неудачные действия во всю навигацию 1855 года. В этих-то намерениях три неприятельские судна, с 3-го по 18 октября, постоянно бомбардировали Де-Кастри, осыпая наши войска, находящиеся на берегу, ядрами и бомбами, и два раза пытались, в довольно значительных силах, сделать десант, но постоянно были отражаемы сперва ротою сводного казачьего полубаталиона с двумя горными орудиями под командою есаула Лузина, а потом всем сводным казачьим полубаталионом, двумя ротами Сибирского линейного № 14 баталиона и дивизионом горной артиллерии под начальством адъютанта генерал-губернатора Восточной Сибири подполковника Сеславина, причём казаки и регулярные войска в течение 15 дней выдерживали с особенною стойкостью и непоколебимою твёрдостью сильный артиллерийский огонь, что и заставило неприятеля отказаться от всякой надежды на успех, а потому 18 числа последние суда снялись с якоря и ушли в море.

В эти дни убиты: казак Матвей Ваулин — осколком бомбы в правое лёгкое, казак Роман Налимов — бомбою в живот.

Ранены: фейерверкер Алексей Ченский — штуцерною пулею в левую руку, казак Дмитрий Пермяков — осколком бомбы в левое бедро, рядовой горного взвода Македонский — ядром в заднюю часть ляжки.

Государь император на рапорте генерал-губернатора Восточной Сибири Его сиятельству г. Военному Министру от 10 января с. г. за № 49, о действиях отряда нашего против англичан во время пребывания неприятельской эскадры в гавани Де-Кастри, Высочайше соизволил положить собственноручную резолюцию: „Всех офицеров представить к наградам и объявить благоволение в приказе. Нижним чинам дать пять знаков отличия военного ордена и всем по одному рублю серебром“.

На донесении же г. генерал-лейтенанта Муравьёва Его Императорскому Высочеству генерал-адмиралу Его Императорское Величество изволил собственноручно написать: „Делает честь начальникам и войскам“.

Сделав надлежащее распоряжение о проведении к точному исполнению Высочайшей воли, я вместе с тем почитаю священным долгом о таковом милостивом воззрении и внимании Его Императорского Величества к действиям отряда в Де-Кастри объявить по военно-сухопутному и морскому ведомствам Восточной Сибири, вполне надеясь, что как в 1854 году при Петропавловском порте, а в 1855 г. в Де-Кастри, так и впредь, где бы ни случилось встретиться с неприятелем, начальники и войска будут стараться заслужить столь милостивое попечение и заботливость Его Величества и, движимые чувствами любви и преданности к царю и отечеству, украсят себя новыми подвигами».

— За этот приказ, что поздно прочтём сотне, нам клистирную трубку не вставят,— засмеялся Марк.— Перебели его в четырёх экземплярах, будем знакомить казаков.

Через несколько дней после этого приехал к Марку в гости из Соляноозёрной станицы командир шестой казачьей сотни зауряд-хорунжий Николай Василовский. Друзья обнялись, Марк повёл Николая к себе в дом, а денщика отправил за вином.

Проговорили они всю ночь. Вспоминали Красноярск, учёбу в казачьем училище, друзей и недругов, помянули покойного атамана Александра Степановича, и каждый припас на такой случай кучу новостей. Большой интерес оба проявляли к событиям, происшедшим на Дальнем Востоке.

— Любопытно, что генерал Муравьёв,— говорил Василовский,— подбирает, назначает, перемещает и повышает в чинах активных людей. Значит, имеет серьёзные намерения в отношении Амура и Дальнего Востока…

— Я слышал, ты недавно воротился из Красноярска. Что там хорошего? — поинтересовался Марк.

— Да ничего я там и не видел! На гауптвахте разве только слухами пользовался. Да! — вспомнил Василовский.— Мазарович на экзамене в полковой школе самолично проверил знания малолетками Закона Божия, задавал вопросы по российской грамматике и арифметике, даже послушал, как

читают казачата, как выводят буковки по чистописанию. Лично придумал и форму экзаменационных листков…

— Да ну его, Мазаровича, к лешему! — прервал друга Марк. — Расскажи, как жена, дети…

Николай Ефимович Василовский на два года старше Марка; его тоже, как и Марка, послал сотенным командиром покойный атаман Александр Степанович, он же и произвёл его в зауряд-хорунжие из урядников. Женился Николай на дочери казака Петра Ошарова — Дарье, вскоре у них родилась дочь Анна, потом Елизавета и ещё одна Анна…

— Всё время сына хотел, и наконец он родился, — похвастался Василовский. — Николаем назвали. Сам-то я весь больной, относить службу устал, подаю в отставку, — и вздохнул. — Дождаться бы, когда сынишка в отцовское стремя вступит!

— В Красноярск переедешь?

— Останусь в Соляноозёрной. У нас там с братом Максимом большой дом на двоих, места всем хватит. И земля есть, и лошади, и коровы… А что в Красноярске? Морду этого Мазаровича лицезреть каждый день? — Василовский поднял стакан. — Выпьем за наше с тобой здоровье, Марк.

Выпив, Василовский опять заговорил о Мазаровиче — он у него, видно, давно в печёнках сидит:

— Приехал, понимаешь, в мою сотню с ревизией и навёл шороху. Урядника Матонина отстранил от должности станичного начальника, а меня — на гауптвахту на собственный свой счёт. В Красноярске узнаю: Матонина зачислил на внутреннюю службу при полковом управлении на место казака Бугачёвской станицы Василия Худякова, а в Соляноозёрную послал старшего урядника Александра Кожуховского… А ещё представляешь что удумал? Предписал впредь при занятии караулов чинами полка наряжать при них двух трубачей.

— Зачем?

— Почём я знаю? Блажь какая-то! А ты-то как, Маркуша? В отставку не думаешь подавать?

— Кому я нужен в отставке? У тебя жена, дети, а у меня… Я же потомственный казак! Для меня полк — и дом, и семья; он и кормит, и одевает, и заботится обо мне.

— Ага, заботится! — Василовский желчно рассмеялся. — Мазарович позаботится… Вот мы сидим, выпиваем, а кто-то уже донос пишет: пьянствуют, мол!..

И он как в воду смотрел. Через две недели оба получили приказ, в котором содержалась угроза, что «если они не перестанут предаваться пьянству, то будут разжалованы в казаки».

Лето пролетело быстро и без происшествий. Марк мотался между Таштыпом и Арбатами, Имеком и Моноком, проверяя посты и караулы; он ещё больше похудел, глаза ввалились и из тёмных ямок пугали диковатым блеском, синеватые после бритья скулы заострились, в чёрных усах посверкивали серебристые ниточки. Горный воздух не раздражал больные лёгкие, и Марк радовался, что мало кашляет.

Осень, которую он не любил и страшился её, заявила о себе сыростью, болезнь обострилась, и тут уж без вина обойтись он не мог. Теперь он пил открыто, как только начинался кашель; все знали, что это для него вроде как лекарство, и были весьма снисходительны. И всё же кто-то опять донёс на него.

В середине сентября Марк получил приказ:

«Командующий 5-й сотней зауряд-хорунжий Суриков за нерадение к службе и допущенные по вверенной ему части беспорядки устраняется от настоящей обязанности и прикомандировывается к караульной команде, в г. Красноярске находящейся, и арестовывается на один месяц с посажением на Главную Гауптвахту с отнесением службы караульного офицера чрез сутки. Обязанность же сотенного командира 5-й сотни передать исправляющему должность Таштыпского станичного начальника впредь до особого распоряжения…»

— Как же это, а? Что же теперь будет, Марк Васильевич? — писарь Зырянов жалостливо смотрел на Марка. — Как же мы теперь без тебя-то, ваше благородие?

— Как, как… Свято место пусто не бывает. Другого назначат.

— Пришлют каку-нибудь собаку глазастую — воем взвоем!

— Ничего не поделаешь, такая у нас служба…

Неженатому офицеру собраться — только подпоясаться: бросил на спину Соловому две перемётные сумы да мешок с зимней одёжкой — вот и всё его хозяйство. Посмотрел на горы, на речку Таштып, на всё вокруг прощальным взглядом, позвал денщика.

— Я тут, ваше благородие! — возникла в дверях чубатая голова без фуражки.

— Скликай казаков на круг, Фёдор!

— Дак оне ж, которы не в карауле, все тут!

Марк вышел на крыльцо. День был пасмурный, но тёплый, сухой. Слышно, как неподалёку звенела речка Таштып. У коновязи стояли осёдланные лошади, и десятка два казаков топтались около, разговаривали, смеялись, курили и тотчас умолкли, подтянулись, заоправляли на себе рубахи, когда увидели своего командира.

— Хорошо, что вы пришли, господа, — сказал Марк совсем не командирским, а скорее отеческим голосом, — а то я хотел посылать за вами…

Он обвёл их медленным взором, как на смотру: вот Семён Юданов, рядом Тимофей Каргаполов, а вот и Сипкины — не братья, а только однофамильцы — Семён, Бенедикт, Роман, Андрей; вот Павел Борзов, Андрей Байкалов, Ефим Ерешнев,

Михаил Медведев… Даже несколько инородцев пришли: Петко, Масха, Качижек, Чогонак, среди них и толмач Кызылчак…

— Братья-казаки, друзья, меня отзывают в полк,— голос у Марка дрогнул.— Плохо ли, хорошо ли командовал сотней — вам судить, но мне тяжело расставаться с вами. Пятая сотня — это моя семья, другой семьи у меня нет, вы знаете… И вот я должен оставить вас. Может быть, навсегда. Прощайте. И простите, если кого обидел, если что делал не так, не от ума ставил на себя… Прощайте!

Казаки загалдели, заговорили разом:

— Да что ты, ваше благородие, Марк Васильевич, каешься-то? Мы тебя не виним!

— И командовал ты хорошо, хвост не задирал, и финтить-винтить не умеешь, честно командовал!

— Что Богу, то и тебе скажем: люб ты нам, хорунжий! Такого, как ты, славного норовом, нам больше не видать!

— А кто писал на тебя доносы, то мы найдём его. Найдём и накажем!..

Марк сошёл с крыльца, отвязал Солового, прыгнул в седло.

— Прощайте, братья-казаки! Прощайте, друзья мои! Не поминайте лихом!

Казаки обступили его со всех сторон: кто взял под уздцы коня и повёл его, кто держался за стремя, кто на ходу поправлял съехавший на бок мешок. А Семён Сипкин, ослабив ремешок, торопливо сунул в перемётную суму бутылку с вином.

— Пригодится,— подмигнул озорным серым глазом.— Мало ли чё? Дорога длинная!..

Казаки проводили Марка до Имека, а дальше уже сопровождали его татары.

7.

Суриковский двухэтажный дом на Благовещенской не пустовал: жили в нём землемер Константинов с двумя помощниками, потом два казака, Леонтий Старцев и Андрей Сидоров, сейчас квартируют казачий сотник Александр Неустроев и старшая акушерка Семчевская.

Квартирная комиссия выдала Марку ордер на постой в его родной дом, и он занял небольшую комнату на втором этаже, по соседству с акушеркой, которая, узнав, что молодой офицер чахоточный, через два дня съехала на другую квартиру.

В первый же вечер сотник Неустроев пригласил Марка к себе отужинать. Они пили коньяк, разговаривали, сотник жаловался, что после атамана Александра Степановича в полку стало невыносимо трудно служить. В своей строгости и придирчивости войсковой старшина Мазарович перешёл всякие границы, и он, сотник Неустроев, наверно, подаст рапорт о переводе в Иркутск или Читу.

— Мазарович не отпустит… из вредности,— мрачно проговорил Марк.

Хотя коньяк и возбудил его, но дальняя дорога дала о себе знать: настроение было паршивое.

— Как это не отпустит?! — самоуверенность сотника, тоже подожжённая коньяком, была грубовато-откровенной.— Отпу-устит, куда он денется! Есаулу Переслени он рапорт подписал? Подписал. И счастливый Володя со своей молодой женой, Катенькой Давыдовой, переводится в Новоархангельский уланский полк с переименованием в ротмистры.

— Казаком Володя никогда не был. Служил в регулярной кавалерии, а это не одно и то же. Просто он возвращается, как у нас говорят, в первобытное состояние… И всё-таки Мазарович его долго держал.

— Меня не удержит. Кто я ему? Что с меня взять? А Володя — зять декабриста Давыдова, Мазарович благоволит ему, потому что сам, я слышал, замешан был в каком-то преступном сообществе.

— Потому он и здесь, в Сибири. Почётная ссылка для латинянина,— подытожил Марк.

— Откуда это тебе известно?

— Брат Василий говорил… Кстати, он что, уже не адъютант?

— Русский немец барон фон Будберг теперь адъютант, а Вася у него — помощником, вроде писаря. Вот так, Марк! Бывший поручик лейб-гвардии Гродненского полка у нас быстро карьеру сделает!

— За что Василия-то подвинули? Немец лучше, что ли?

— А шут их знает за что! Мазарович и сам почти что немец!

В полковой канцелярии, куда Марк явился, чтобы доложить о приезде и получить арестный ордер, Мазарович распекал дежурного по караулам хорунжего Голашевского. И даже не распекал, а занудливым голосом читал нравоучение:

— Проезжая мимо гауптвахты, я заметил, что караул вышел в ружьё для отдания мне чести весьма медленно, а часовые, стоящие у фронта, ударили в звонок слишком поздно. А всё оттого, что часовые вместо того, чтобы иметь глаза, готовые на всё, и заниматься своей обязанностью по званию часового, затевают и разговаривают с посторонними людьми, вопреки уставу о службе в гарнизоне. За всеми моими настояниями о том, чтобы служба в гарнизоне исполнялась в точности, к сожалению, не достигает своей цели собственно от беззаботности господ сотенных начальников. А посему я вынужден сделать вам, господин хорунжий, выговор. Всё. Можете идти.

Чётко повернувшись и пристукнув каблуками, Голашевский вышел, придерживая на боку саблю.

Марк стоял и ждал, когда Мазарович обратит на него внимание, но он, казалось, вовсе его не замечал. Это был светловолосый, светлоглазый мужчина средних лет, в облике которого было что-то скандинавское, рыцарское, мужественное.

Вошел зауряд-хорунжий Цыренщиков, замещающий адъютанта, и доложил, что с золотых промыслов Ачинского и Минусинского округов прибыли бывшие там по наряду на службе казаки Базайской и Саянской станиц. Спросил, куда их определить, на что Мазарович махнул рукой:
— Уволить на льготу!

Он вышел из-за стола, прошёлся по кабинету — стройный, узкий в талии, в отутюженном, без единой складки, чекмене, в блестящих сапогах, хорошо пострижен, побрит, щеголеват.
— Оружие пусть сдадут в цейхгауз, казначей пусть примет по описи. Что ещё?
— Казака Дмитрия Саломатова, что совершил побег, нашли. Сам явился. Добровольно. Тринадцать дней в бегах был, а похолодало — явился! — в голосе Цыренщикова сквозило торжество.
— Дать ему сто ударов розгами при собрании нижних чинов и нарядить вне очереди на службу на один год!
— И ещё, ваше высокоблагородие… — Цыренщиков выдернул из папки, которую держал в левой руке, бумагу, только что полученную из Иркутска, заглянул в неё. — Его превосходительство господин командующий бригадой прислал своё решение по делу о не оказавшихся в пакете семидесяти рублях серебром, который пересылался из Минусинского земского суда в Шушенское волостное правление с казаком Таштыпской станицы Василием Медведевым…
— И какое же решение?
— От всякой ответственности Медведев оставлен свободным.

Когда Цыренщиков вышел, Мазарович обратил наконец внимание на Марка, а его, как назло, начал вдруг душить кашель.
— Ты что, нездоров? — холодно спросил Мазарович и налил из графина в стакан воды. — Выпей, и всё пройдёт.

Марк выпил, но кашель не проходил. «Если б ты мне вина стаканчик подал!..» — подумал он.
— Ну-с, господин зауряд-хорунжий, что мне с вами прикажете делать? — заговорил Мазарович, позволив Марку стоять по стойке «вольно», а потом и сесть. — Временно командующий вместо вас пятой сотней старший урядник Чанчиков при рапорте представил мне восемнадцать документов, принадлежащих к шнуровым книгам сотни, — о провианте, фураже, мясных и соляных порциях — для утверждения их твоим подписом. Я просмотрел эти книги — и что же? И Чанчиков, и Козьмин, и ты, господин Суриков, даёте повод, в котором усматривается совершенное нерадение по службе и беззаботность до такой степени, что даже при сдаче сотни не позаботились подписать документы с февраля месяца. Ну что мне с тобой делать? Твой формулярный список уже не вмещает записей о наказаниях. Столько арестований, что вечно тебе быть караульным офицером через сутки на гауптвахте тюремного замка.
— Я нездоров, ваше высокоблагородие, — сказал Марк.
— Нездоров? — белёсые брови Мазаровича подпрыгнули. — Пьянствовать — здоров, а службу нести — видите ли, больной. Зайди к полковому фельдшеру, и если тот найдёт, что ты не можешь относить службу его величества, напиши рапорт и отдай моему адъютанту.
— А что по пятой сотне записать в приказ? — задал вопрос писарь, сидевший за столиком в углу, в таком месте, что его не сразу и обнаружишь.
— Пиши: приказный Козьмин смещается из настоящего звания в казаки. Зауряд-хорунжий Суриков арестовывается на один месяц с отнесением службы караульного начальника через сутки. К сему нужным считаю присовокупить, что если, несмотря на принимаемые мною меры… будет продолжать быть нерадивым к службе и вести себя неодобрительно, то при первом моём замечании будет представлен начальству как офицер, не приносящий никакой пользы службе его императорскому величеству, для поступления с ним на основании законов… — кончив диктовать, Мазарович повернулся к Марку: — Можешь идти, господин Суриков. Надеюсь, фельдшер Смелянский тщательно тебя обследует…

Старший полковой фельдшер Смелянский, давний приятель семьи Суриковых, дотошно расспрашивал Марка: много ли и как обильно отхаркивается мокрота утром и вечером, наблюдаются ли, и как часто, боли в груди и между лопатками, бывают ли носовое кровотечение и ночные поты, а также непродолжительное, но часто повторяющееся повышение температуры тела… Получив интересующие его ответы, коротко и строго спросил:
— Пьёшь?
— Как ты велел, Николай Васильевич: только чтобы не кашлять.
— М-да, — неодобрительно протянул фельдшер, — увлёкся ты, видать, спиртным и только хуже сделал. Не надо было уезжать из Таштыпа.
— Меня отозвали.
— Знаю, всё знаю, Марк!
— Мне там было хорошо, я даже на пограничные знаки ходил и, представь, мало кашлял.
— Какая-то скотина доносы на тебя писала; узнать бы — кто? Василий говорил: конверты подписывались: «Лично командующему», — их даже адъютант не имел права вскрывать.
— Мне тоже говорили. Казаки обещали найти доносчика.
— Но почему тебе не сказать Мазаровичу прямо: так, мол, и так, болею?.. Человек же он, понял бы!
— Да я уж подумывал… а потом поразмыслил: нет, нельзя открываться. Он же меня совсем уволит.

По болезни. А что я есть без казачьей службы? Куда пойду? На паперть? Служба меня кормит, а как только стану от неё свободным — помру с голоду; я ведь ничего не умею и… не могу.

Слушая Марка, Смелянский то хмыкал, то вздыхал, то качал головой, потом, ни слова не говоря, скрылся за ширмой, отделяющей приёмный покой от личных покоев, и долго там гремел рукомойником. Вернулся к столу с ещё влажными руками, сел, взял перо и написал для Марка справку, освобождающую его от занятий в полку во время обострения болезни.

— Таштыпский климат более всего подходил тебе, — повторил он слова, говоренные им не раз, и стал рассказывать о каком-то Германе Бремере, медике из Берлина, который под влиянием замечательных лекций физиолога Иоганна Мюллера пришёл к убеждению, что чахотку лечить надо не лекарствами, а нужно поставить больного в благоприятные физиологические условия, как-то: чистый горный воздух, рациональное питание, глубокое дыхание и укрепление поверхности кожи с помощью водяного душа.

— Эх, Николай Васильевич! — воскликнул Марк с наигранной весёлостью. — Что нам немец? Какой там душ? Я знаю, ничто не поможет мне. Как это у поэта: «И что ж? Чахотка роковая в глаза мне пристально глядит…»

Смелянский скинул халат и сразу стал таким же, как все, казаком, урядником, в обычном чекмене, шароварах и сапогах, только на левом рукаве мундира появилась нашивка из жёлтой тесьмы, которой фельдшер недавно был награждён «за беспорочную десятилетнюю службу».

— Не надо мрачно смотреть на жизнь, дорогой друг, — улыбнулся он. — Бороться надо. Ты ещё молодой. Сколько тебе?

— Тридцать пять.

— Вот видишь — тридцать пять. Организм у тебя ещё крепкий, и если ему помочь — может произойти чудо.

— А если не произойдёт? — Марк оделся и ждал, когда наденет шинель фельдшер Смелянский.

— Всё может быть, — согласился фельдшер. — Все мы в руках Божьих. Но надеяться надо. Надо верить. И давай попробуем жить по методу Бремера. Дядюшка твой до последнего своего часа пешком ходил…

Во второй половине октября умер Василий Львович Давыдов — декабрист, «короб просвещения», совесть красноярцев. Известие о его кончине Марк воспринял с болью отчаяния: всё меньше остаётся на этом свете людей, которых он любил и которые были для него примером во всём. Декабрист давал ему читать книги, приобщил к пониманию прекрасного, всегда интересовался его жизнью, службой, деликатно поправлял, подсказывал, наставлял, он был для него как учитель, добивающийся не просто затверженного урока, а разумного понимания предмета. И вот теперь его нет в живых. Горько и больно.

Похоронили Давыдова на Троицком кладбище, справа от входа в кладбищенскую Троицкую церковь, рядом с могилой его измученного жизнью друга — декабриста Митькова, недалеко от могилы другого его друга — казачьего атамана Сурикова. Народу было немного, проститься с покойным пришли губернатор, чиновники, городской голова, кое-кто из купцов, друзья и знакомые. В скорбном молчании стояла многочисленная семья Василия Львовича. На обнажённые головы медленно падали, кружась, навевая печаль, мохнатые снежинки. Снежный покров вокруг отрытой могилы был затоптан до черноты. «Так и меня когда-нибудь похоронят. И точно так же будет падать снег и чернеть на земле, возле могилы, в которую меня зароют. Может, и не будет падать снег — может, прольёт на мою могилу дождь. А может, будет солнце, и лёгкий ветерок будет шелестеть листвой, только меня уже не будет и ничего не будет», — Марк украдкой смахнул слезу и оглянулся. Нет, никто этого не видел. Да и кто обратил бы внимание на худощавого офицерика, если у всех одна печаль и все в единой печали равны, только не все в такой день могут плакать?

На похороны Марк пришёл тайно, оставив за себя караульным начальником одного из урядников. Конечно же, он нарушил устав гарнизонной службы. Потом нарушил ещё раз, когда помянул усопшего и вернулся на гауптвахту навеселе. За этот проступок Мазарович наладил формальное расследование, назначив следователем зауряд-есаула Артемьева, а сам выехал в Иркутск. Впрочем, Артемьев протянул это дело до января и рапортом донёс, что зауряд-хорунжий Марк Суриков «за неоднократными требованиями не является в его квартиру для дачи объяснений по производимому им, Артемьевым, исследованию». Тем временем Суриков всё ещё находился на гауптвахте и, естественно, к Артемьеву «в квартиру для дачи объяснений» даже при желании не смог бы явиться. Но «являться» он и не хотел. Пусть разбираются сами, а его оставят в покое.

Разбирательство затянулось на долгие месяцы. К факту «об отлучке» прицепились и другие «нарушения и непорядки» годичной давности, что вкупе составляло внушительное по объёму «дело», которое войсковой старшина Мазарович грозился направить в военно-судную комиссию.

И что же это были за «нарушения и беспорядки»?

Два года назад, в сентябре, у казака Арсения Шуваева сгорел амбар, обвинили некоего Яковлева, поверенного в следственно-судных делах, который во время обыска у Шуваева корчемного вина тот амбар якобы и поджёг. Замещавший командира полка зауряд-есаул Артемьев дал предписание

Сурикову, а Марк перепоручил станичному начальнику Чанчикову, тот этому делу и вовсе не дал надлежащего хода «за неявкою депутата с гражданской стороны».

Припомнил Мазарович и неподписанные документы, и шнуровые книги, и несвоевременную отчётность, и пьянки, и ещё какие-то мелочи, на которые не стоило бы обращать внимания. И уж вовсе никакого касательства Марк не имел к пересыльной тюрьме, где один из арестантов, следующих в каторжную работу, оскопил другого арестанта в сарае пересыльного двора,— даже и этот случай часто вспоминали: мол, если бы караульный начальник был трезв, этого не случилось бы…

Артемьев пришёл к Марку на гауптвахту и с виноватой улыбкой заговорил, что не хочет заниматься этим паскудным делом. Но… приказ есть приказ.
— Мазарович хочет разжаловать тебя в казаки, Марк. А мне-то, пожилому человеку, с моим ревматизмом, зачем в то дело ввязываться? Вот я и тяну его. А там, Бог даст, всё забудется или Мазаровича повысят в должности.

Марк с беспечным равнодушием ответил, что ему теперь всё равно и собственная судьба его мало интересует. Артемьев растерялся:
— Как это не интересует?
— А так… потому что я скоро умру.

Артемьев решил, что Марк шутит, однако что-то в его словах настораживало.
— Какие-то у тебя, Марк, нехорошие мысли… Ты их из головы немедленно выбрось, понял?— повысил голос Артемьев.— И думать не смей, мальчишка!

Марк нервно рассмеялся ему в лицо:
— Да ладно, ладно, не кричи: я же не завтра умирать собираюсь… Лучше скажи, кто сейчас на мою сотню назначен?
— На твою сотню? Боюсь, что тебе её теперь не дадут. А назначен туда зауряд-хорунжий Семён Серебренников.
— А станичным начальником?
— Урядник Василий Байкалов. Писарь так и остался— Иван Зырянов, а в помощники ему дали Дмитрия Ванькова, казака из Красноярска. После ревизии Мазарович всех позаменил. Ревизует теперь четвёртую сотню. Но там сотенным командиром Андреян Каргин, у него всё должно быть в порядке.

Из Суетукской станицы, где стояла четвёртая сотня, войсковой старшина Мазарович вернулся довольно скоро— видимо, там и впрямь служба шла неплохо— и, ознакомившись с последними донесениями из Иркутска, велел офицерам и классным чиновникам явиться завтра в час пополудни в полковое управление одетыми в парадную форму. Приказ никого не удивил, потому что знали: Мазарович любил парады, смотры, а посему и парадную форму. Он выстроил их в одну шеренгу, поставил по стойке «смирно» и в течение часа говорил о поголовном пьянстве в сотнях, хотя, конечно же, сильно преувеличивал, а для примера привёл недавний случай, происшедший в Суетукской станице, когда казак Иван Седельников в праздник Сырной недели, разъезжая по улицам пьяным, упал с лошади и убился насмерть. Потом он обрушил на офицеров поток обвинений в попустительстве казакам, которые, как ему пожаловался главный комиссионер питейной продажи, не допускают корчемную стражу производить в их домах обыски «без предъявления на это предписания командующего полком».
— Строжайше предписываю станичным начальникам Соляноозёрной, Таштыпской, Саянской, Каратузской и Суетукской станиц,— чеканя каждое слово, будто гвозди вбивал, говорил Мазарович,— немедленно поставить в известность всех подведомственных мне казаков, проживающих между крестьянами в разных селениях, чтобы они не осмеливались оказывать никакого сопротивления корчемной страже. В противном случае виновные будут предаваться военному суду. Сей мой приказ довести до каждого казака, до каждого крестьянина. И ещё…— Мазарович прошёлся вдоль строя и почему-то внимательно посмотрел на Марка Сурикова.— И ещё,— повторил он твёрдо, тоном приказа,— государь император высочайше повелеть соизволил: войскам, вступающим в караул в обыкновенные дни, усов и бакенбардов не фабрить; в воскресные же дни вступать в караул с нафабренными усами и бакенбардами… Государь император также повелел: в случае тревоги войскам выходить в строй не в шинелях, а в полукафтанах…

Подав команду «вольно», чтобы строй мог расслабиться и размять застывшие члены, Мазарович вновь скомандовал:
— Господа офицеры… Смир-но! Слушайте приказ государя императора!..— он протянул руку, адъютант ловко выдернул из папки лист бумаги и подал ему.— Итак, приказ армии и флоту,— начал он торжественно, с чувством.— «Храбрые воины, в воспоминание доблестных заслуг ваших в минувшую войну я Манифестом моим, сего числа данным, установил бронзовую медаль, чтобы на груди каждого из вас был видимый знак моей к вам благодарности и благоволения и который свидетельствовал бы, что вы оправдали моё к вам доверие, доказав вашу неизменную готовность жертвовать собою на пользу веры, престола и отечества. Знак сей возложить на себя войскам по указаниям, мною начертанным». На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою написано: «Александр».

— Слушайте приказ командующего полком от десятого октября тысяча восемьсот пятьдесят

шестого года за номером пятьсот два,— объявил полковой адъютант зауряд-хорунжий Цыренщиков офицерам, собранным в полковое управление спешным порядком к десяти часам утра.— «Завтрашнего числа по случаю совершившегося священного коронования их императорских величеств занятий по службе никаких не назначается…»

— Ура!— послышались радостные возгласы.— Любо, адъютант!

— Не радуйтесь,— сказал Цыренщиков.— Слушайте дальше: «…от караульной команды имеет быть церковный парад в Воскресенском соборе, вследствие сего предписываю: назначить от караульной команды два взвода, имея по пятнадцать рядов во взводе и потребное число урядников и приказных, парадом командовать господину есаулу Голашевскому, первым взводом— зауряд-есаулу Артемьеву, вторым взводом— зауряд-хорунжему Сурикову. А между взводами, по случаю недостатка офицеров, назначить исправных урядников. Господам офицерам и нижним чинам одетым быть в полной парадной форме, из коих последним быть без ружей и патронташей, за исключением наряженных к дверям церкви; трубачам одетым быть в парадной форме, без патронташей, имея при себе музыкальный инструмент. Собраться во дворе гарнизонного баталиона и по совершенной готовности в девять часов утра в должном порядке следовать в церковь…» Подписал войсковой старшина Мазарович.

— С чего это— парад, коли месяц назад коронация прошла?— засомневался сотник Неустроев.

— Начальству видней,— сказал Цыренщиков,— а наше дело— исполнять приказания и приказы.

— Замучили парадами, смотрами, ревизиями… По случаю высотезоименитства его величества— парад. Господин бригадный командир полковник Шелашников посетить нас изволил— парад. Мало парада— смотр учинили… Не много ли парадов?

— Разговорчики!— Цыренщиков чувствовал себя при власти, а значит, он выше всех тут.— Вам что, господин сотник, не надоело ещё под арестом быть?

— А пошёл ты в… Тоже мне— начальство!

Сотник Неустроев и зауряд-хорунжий Марк Суриков относили службу караульную на главной гауптвахте и ждали приговора военно-судной комиссии, учреждённой при Енисейском гарнизонном баталионе. Подготовка к параду требовала максимума усилий, смекалки и изворотливости, особенно им, находящимся на гауптвахте безвыходно. Потому и высказал Неустроев своё неудовольствие частыми смотрами и парадами.

— Молчи, Саша,— сказал ему Марк,— а то накинут к сроку ещё срок…

— Плевать!— разошёлся Неустроев, тем более что Цыренщикова он совсем не боялся, пусть проглотит всё, что услышит.— Мне плевать! Парады, парады, парады… Одни парады! Кого хотим удивить?

— Но ведь по случаю коронации… Ведь понятно же,— слабо защищался Цыренщиков: он не знал, что сказать в ответ.

— Да государь и не знает, что у нас в честь его коронации— парад! Да вы гляньте: все улицы заклеены объявлениями о коронации! Месяц висят! И содрать нельзя— не так поймут…

Марк читал эти выцветшие афиши с размытыми дождями буквами. На одних извещалось о коронации государя императора Александра, бывшей в Успенском соборе в Москве восьмого сентября 1856 года; на других, гораздо больших размеров,— полный текст Манифеста о даровании царских милостей по случаю восшествия на престол: снятие недоимок с крестьян, сокращение сроков тюремного заключения и каторжных работ уголовным преступникам, пожалование титулов и наград верноподданным его величества… Весь город только и говорил об этих «милостях»: вот, мол, декабристы теперь все поедут в Россию… На них надеялись и Неустроев с Суриковым.

Этот год стал переломным в судьбе России. Всюду царил демократический подъём. Ослабли цензурные строгости, русское общество возликовало: кончилось мрачное семилетие! Повсюду проводились собрания, диспуты, велись горячие споры. В великосветских гостиных и салонах трясли вопросы образования, воспитания народа: только невежество, отсутствие школ в деревне, устарелые методы преподавания— вот что мешает!.. В печати появились главы нового романа Льва Толстого, озаглавленные «Утро помещика», в котором автор убеждал русское общество, что крепостническая система и предопределила поражение России в Крымской войне. Из Сибири возвращались амнистированные государственные преступники и ссыльные. Воротился в Петербург и Тарас Шевченко. Петербург не узнал в этом лысом седом старике «с расстроенным здоровьем и угасающим вдохновением» своего былого кумира— поэта и художника. А было ему всего лишь сорок два года.

Счастливое началось время, которое русский дипломат и поэт Фёдор Тютчев назвал достаточно точно— «оттепель»…

Вася Суриков мало разбирался в происходящих событиях, однако из горячих споров отца с земским исправником в Бузиме, из отрывочных сведений, почерпнутых на улице и в училище, он понял: наконец-то пришла долгожданная свобода!..

Крымская война кончилась, однако вражеская армия ещё три месяца была прикована к стенам Севастополя, так и не овладев ни одним из его укреплений. Черноморского флота у нас уже нет, и то, что осталось, мы должны сжечь или потопить собственными руками.

Многие плакали, когда топили корабль «Три святителя». Корабль долго не хотел идти на дно, несмотря на множество смертельных ран; но когда он стал опускаться, то все зарыдали. «Дети не плачут так, опуская свою мать в могилу»,—сказал старый капитан с «Крикуна»[19]…

— Разве нас победили?—горячился в споре с Марком сотник Неустроев.—Разве все силы наши истощились? Напротив, неприятелям угрожала гибель—банкротство и революция. Мы же наградили его миром… Но я думаю, что это ещё не мир, а нечто вроде перемирия. Думаю, мы усилим Балтийский флот; заведём флот или нечто похожее на Амуре. Полагаю, наш великий адмирал Константин Николаевич обдумывает планы отомстить врагам бесчестие наше…

— Господин Кузнецов на днях получил письмо с устьев Амура,—заговорил Марк, знаком усадив пришедшего в гости Васю рядом с собою на кровать.—Пишут об экспедиции, которую Муравьёв отправил в Китайское море к Корейскому полуострову. Но, кажется мне, всё ограничилось отправлением туда коммерческого посольства.

— Это имеет какую-то связь с нашим занятием Амура? Неприятель везде ставит рожны… Корея-то близко от Амура! России, думаю, суждено господствовать на востоке Азии…

— А пока там господствуют англичане,—вставил Марк.—В июне прошлого года адмирал Элиот с эскадрой пришёл в Аянский порт, временно оставленный жителями, сбил замки в домах и церкви ограбил все, запасся лесом и водою и ушёл, уведя с собою три судна Русско-Американской компании…

Прежний царь, говорил Неустроев, душил всякое проявление свободомыслия. А новый, должно быть, даст свободу крестьянам и уже сделал послабление в армии. Низшие чины передают друг другу, что Александр Второй «добр и слаб, плачет с офицерами, целуется с солдатами; он разрешил солдатам (в России это равносильно конституции) расстёгивать воротник и всем желающим курить на улице». А потом в Сибирь закатился слух о «киевской казатчине»—будто бы в прошлом году в девяти уездах Киевской губернии крестьяне потребовали записать их в казачье сословие, заявив: «Мы готовы идти умирать под Севастополем, но барщины работать не будем».

— И добренький царь это антикрепостническое движение утопил в крови,—подытожил Неустроев с откровенной печалью в голосе.

Марк лежал в постели, мокрый от липкого пота, покашливал, жаловался на общее недомогание, но, тем не менее, сотника от себя не отпускал, говорил шутливо: мол, в одиночку и хворать скучно.

В другой раз Вася не застал дядю дома. Сотник Неустроев сказал, что Марк вышел на службу и найти его можно в караульном помещении.

Главная гауптвахта—приземистое бревенчатое здание, нижний этаж которого утопал в земле, а верхний выступал над нею в виде плотного квадрата с зарешёченными окошечками,—стояла против Покровской церкви, обнесённая высоким заплотом. Здесь, перед тем как отправиться по этапу в Нерчинские рудники, несколько дней содержались декабристы.

Во дворе за плотными воротами разговаривали двое мужчин: у одного голос тоненький, плачущий, виноватый, у другого—зычный, строгий, привыкший командовать. Вася приник глазами к щели. Усатый фельдфебель читал нравоучения молодому солдатику:

— …Все твои неприятности, Маклаков, оттого, что верхняя пуговица расстёгнута. Почему она расстёгнута? Не знаешь, Маклаков, а я знаю: живёшь как свинья в берлоге… Нестрижен, аж на ушах висит… И что это за рубаха на тебе? Будто корова языком постирала. А сапоги почему не чищены? Сапоги надо чистить с вечера, а утром надевать на свежую голову… Ты у меня смотри, Маклаков! Это тебе чревато боком: где я нормальный, а где и беспощадный становлюсь. Понял? Тресну вот по башке—весело станет… Каждый солдат должен быть поощрён или наказан. Тебя, пожалуй, я накажу, Маклаков, чтоб наперёд знал: голова у солдата—чтоб думать, а мозги—чтобы соображать. Понял, нет, Маклаков?..

Попасть во внутренний двор можно только двумя путями: открыто—через охраняемую калитку в воротах, и тайно—через неохраняемый заплот. Вася знал, где можно перелезть,—перелез, прыгнул в лопухи и затаился, потом осторожно подобрался к окну караульного начальника.

— Дядя Марко,—постучал он по стеклу.

Небольшая форточка за решёткой откинулась, и показалось бледное лицо Марка.

— Ты чего, племяшек? Что-нибудь случилось?—встревожился Марк, увидев Васю в лопухах.

— Да нет, всё хорошо, просто караульный—солдат, а не казак, я и подумал: этот не пустит…

— Я и забыл, что караульные—солдаты двенадцатого баталиона, сегодня их очередь,—тихо засмеялся Марк.

— А ты болеешь, да? Мне господин сотник сказал, что ты больной пошёл на службу.

Марк поёжился:

— Здесь холодно… плохо топят. Знобит чего-то…

— Это оттого, что ещё не поправился.

……

19. Пароходы Черноморской компании носили странные названия: «Крикун», «Болтун», «Родимый», «Матушка», «Сестрица», «Братец»… Строились они в Англии, а «крестил» их в России великий князь Константин Николаевич, считавший, что это чисто русские прозвища.

— Утром вызвали в канцелярию, я встал с постели, а раз пришёл — значит, здоров.
— Вызвали-то зачем?
— Зачитали приказ нам: завтра — на парад…
— Опять в одних мундирах?
— Да нет, в шинелях… если будет холодно. Ты-то как учишься? Как живёшь у крёстной?
— Я теперь, дядя, не в старшем отделении, меня в первый класс перевели. Учусь хорошо, и даже всех обгонять стал.
— Рисуешь?
— Рисую. Теперь я ноги у лошади рисовать умею. Дядя Семён показал…
— И что, неужели сгибаются?

Вася достал из-за пазухи тетрадку и карандаш и тут же быстро начертил один сустав, другой, третий, твёрдой и уверенной рукой соединил их в одно целое — получилась передняя нога бегущей лошади.

— Молодец! — похвалил Марк, покашливая.
— А за что ты здесь, дядя?
— О, это давняя история, Вася! Мы тут с Василием…
— С дяденькой Василием? С Синим Усом?..
— Ну да. С нами и сотник Неустроев был… В общем, устроили мы «тёмную» Мазаровичу. Он посты проверял, а мы тут и накинули шинель…
— Будет знать, как над казаками измываться! — сказал Вася. И тут вдруг пугливо дрогнуло у него сердце. — Дядя, а ведь засудят вас, и тебя засудят…
— Худо, что шинель моя была. Но ты не бери в голову, как-нибудь выкручусь.
— Как же это, а?
— Да вот… шинель впопыхах бросили, это уж я потом хватился, да поздно было.
— Но ведь могли и украсть её? Могли ведь, да? Вот и пусть докажут, что ты там был.

Марк поёжился — знобило его, видать, сильно.

— Да ну их к лешему: шинель, Мазаровича… Скажи лучше: как мать? Как сёстры? Как отец?
— Да ничего, все живы-здоровы. Лиза вышла замуж за попа, уехала куда-то на север…
— За Лизу я рад, — сказал Марк. — Дай Бог ей счастья. Хороший, нет человек этот поп? Ты его видел?
— Не очень высокий, с бородкой, на Пугачёва похож…
— Почему — на Пугачёва? Ах да, — поправил Марк, — ты его с картинкой сравнил! — и рассмеялся. — Надо же! Наблюдательный, однако!
— А я как увижу кого, так начинаю с кем-нибудь сравнивать: интересно! — расхвастался Вася. — А намедни казака встретил — вылитый Пётр Великий!
— Ну уж сразу и Пётр Великий?..
— Точно! Ростом помене и жидковат против Петра, но… Пётр и Пётр!

Марк опять посмеялся и повернул разговор в сторону:

— Крёстная-то твоя как поживает? Всё своим богам молится? Кстати, ты ведь и мой крестник, Вася! Не забыл? Это я иногда забываю. Прости. Обещал тебе краски привезти. Да какие там в провинции краски!
— Мне купец краски подарил. Кузнецов. От китайцев привёз. Водяные краски, только они по бумаге растекаются.
— Ничего, племяшек, будут у тебя хорошие краски. А про крёстную почему молчишь?
— Тётя Оля про святых рассказывает, говорит — великомученики они…
— Кончится моя смена — приходи домой, — Марк передёрнул плечами. — Я тебе книгу буду читать. Хороший роман беллетриста Загоскина «Юрий Милославский»… Про старинную жизнь написан. Пока, Вася! Пора на развод караулов! — Марк протянул через форточку руку, рука была горячей и влажной. — Всем передай поклон, скажи: у меня всё хорошо. Так и передай!

Перелезть обратно через заплот не составляло большого труда. Через минуту Вася уже был на улице, перед воротами. Занудливый фельдфебель всё ещё распекал солдатика:

— Я же велел размести во дворе эту лыву, чтобы господин офицер в темноте не мочился. А то, понимаешь, идёт с караульным, а тут — лыва… Почему не размёл? Ах, Маклаков, Маклаков, стоишь тут, молчишь, а того не ведаешь, что я тебя хочу обратно же наказать…

Свой второй взвод, к которому Марк Суриков был прикомандирован по возвращении из Таштыпа, он вывел на полковой двор раньше других. Вскоре подошли ещё два взвода — сотника Голашевского и зауряд-сотника Артемьева. Взводы построились в каре. Сотник Голашевский не спеша обошёл строй, придирчиво осматривая каждого казака — всё ли у них в порядке: стрижены, бриты ли, нафабрены ли усы и бакенбарды, все ли пуговицы на месте, вычищены ли сапоги и надраены ли музыкальные инструменты у трубачей. Потом вышел на середину и, подражая Мазаровичу голосом и некоторыми движениями, произнёс витиеватую речь:

— С момента переформирования Енисейского городового полка в казачий конный полк прошло уже более пяти лет. Достаточно времени, чтобы привыкнуть к новому порядку службы и ознакомиться с характером оной. Однако зачисленные из крестьян в отставные казаки и доныне не покидают своей крестьянской одежды. Некоторые и на парад в ней явились. Его высокоблагородие господин командующий полком находит неприличным видеть в станицах, а в особенности на смотрах, отставных казаков необмундированными и строго предписал немедленно понудить их завести себе форменные шинели с шароварами и фуражками. Зауряд-хорунжий Суриков? — Голашевский

уставился на Марка светлыми холодными глазами.— А ведь это твои двое: один без шинели, другой в шароварах без лампасов и без фуражки. Что ты на это скажешь?

— Я ему ещё и лампасы к шароварам пришивать должен? — огрызнулся Марк.

— Потребовать должен!

— Да я их и сам-то первый раз вижу.

— Делаю тебе, Суриков, замечание. А этих,— сотник пальцем ткнул в одного и другого,— этих я на парад в честь коронования его величества в таком виде допустить не могу. Зауряд-сотник Затрутин! — позвал он помощника полкового адъютанта.— Выдать этим бесформенным на время парада из сотенного цейхгауза одному шинель, другому фуражку и шаровары с лампасами…

После праздничной литургии в Воскресенском кафедральном соборе взводы казаков построились и под музыку полковых трубачей прошествовали по Воскресенской улице к новому Богородице-Рождественскому собору, заново отстроенному золотопромышленником Сидором Щёголевым.

Плац ещё был пуст, но возле ограды городского сада и у нового гостиного двора, возле храма церковного стояли толпы обывателей, жаждущих зрелищ.

Вася Суриков держался в стороне от толпы, он стоял на углу Воскресенской улицы и Батальонного переулка, ждал, когда пойдут казаки колоннами, чтобы юркнуть между ними и хоть немного пройти в строю рядом с дядей Марком и дяденькой Василием. Но когда взвод под командованием Марка Сурикова поравнялся с ним и Вася уже готов был сделать рывок вперёд, Марк нахмурился и мимикой лица дал понять, что этого делать не следует.

Вместе с другими мальчишками Вася проводил взводы к месту их построения на плацу и стал наблюдать, как слаженно и красиво перестраиваются они, как чётко выполняют команды и как потом встали: правым флангом к гостиному двору, левым — к квартире жандармского полковника Борка. Нижние чины караульной команды построились в полубатальонные расчёты, развёрнутые фронтом на дистанцию в две разомкнутые шеренги, спиною к городскому саду,— так обычно выстраиваются на инспекторском смотру. Офицеры — впереди, за ними урядники, за урядниками весь казачий фронт, за фронтом — писари и фельдъегеря, потом — нижние чины мастеровой команды, а уж после всех — нижние чины, не способные к строевой службе. Позади нижних чинов, находящихся на службе в Красноярске, стояли льготные казаки Красноярской станицы, за ними — чины внутренней службы, далее — малолетки, обучающиеся в казачьей школе, потом отставные и не способные к службе казаки. Все — в парадной форме.

За казачьими шеренгами выстроились офицеры, унтер-офицеры, фельдфебели и солдаты пехотного линейного батальона номер двенадцать и инвалидная команда под начальством командира Енисейского внутреннего гарнизонного батальона майора Суровцева.

День был солнечный, с лёгким морозцем, без ветра. Древние сосны в городском саду радовали зеленью. Золочёные кресты на голубых куполах нового собора сверкали таинственным жёлто-красноватым светом. Утоптанный снег посерел, приобрёл стеклянный блеск, и весь плац превратился в гладкий, словно хорошо натёртый воском паркет. Молодые солдатики-первогодки из пехотного батальона зябли в своих тонких, подбитых ветром шинелишках, притоптывали и приплясывали, пристукивали сапогами, потирали пунцовые уши. Казаки же стояли твёрдо, гордо, с достоинством: не чета, мол, вам, пехотные ползуны,— хотя тоже мёрзли. Они, потомки Ермака, не позволяли себе дотронуться даже до уха, от мороза красного, словно облитого кровью.

Ждали командующего парадом войскового старшину Ивана Семёновича Мазаровича.

Наконец со стороны кафедрального собора, от Благовещенской улицы, выехала открытая коляска, в которую впряжён молодой чёрный жеребчик по кличке Ворон.

— Едет! Едет! Едет! — словно шелест пронёсся по толпе.

Приплясывая, высоко вскидывая аспидную свою голову с налитыми кровью глазами, Ворон вынес лёгкую коляску, точно пушинку, в створ Воскресенской улицы и встал как вкопанный как раз против фронта войск. Из коляски осторожно, чтобы не поскользнуться, ступил на землю войсковой старшина Мазарович, начищенный, наглаженный, нафабренный, с отличной выправкой: издалека видно — идёт командующий.

— Гар-рнизо-он!..— как из трубы выпорхнул и взлетел ввысь и там замер звонкий голос сотника Голашевского.— Смир-рно!

Войска замерли. Придерживая саблю, Мазарович не спеша направился к ним. Голашевский выдержал паузу и, повернувшись в сторону командующего, пошёл ему навстречу сперва обычным, затем строевым шагом. Трубачи грянули встречный марш и, когда Голашевский и Мазарович, не доходя друг до друга двух саженей, остановились, резко оборвали его.

Отдав рапорт, Голашевский сделал шаг в сторону и, не отнимая ладони от козырька фуражки, держа дистанцию, проследовал за командующим до середины плаца.

Мазарович поздоровался с войсками, в ответ прогремело сперва дружное, а к концу несколько сбивчивое:

— Здра… жла… госп… дин войск… вой старшина!

— Поздравляю вас с свершившимся священным коронованием их императорских величеств Александра Второго Павловича и его благоверной супруги Марии Александровны!
— Ур-ра-а! Ур-ра-а!! Ур-ра-а!!! — покатилось тремя волнами по площади под неслышный патриотический всплеск ладошек нарядных дам и их кавалеров.
— По случаю священного коронования государь император всемилостивейшим Манифестом от двадцать шестого августа сего года даровал разные милости всем вообще сословиям, соблаговолил облегчить участь лиц военного ведомства, впавших в преступления, и высочайше повелеть соизволил… — Мазарович ловко выдернул из обшлага шинели бумагу, поднёс к глазам. — «Всем состоящим на день коронования… под следствием или военным судом по таким преступлениям и проступкам, за кои по законам не следуют наказания, соединённые с лишением всех прав и преимуществ, от следствия и суда освободить, распространив сию милость и на тех, которых вины, не подлежа одному из вышеозначенных наказаний, не были со дня коронования… за безгласностию обнаружены…»
— Радуйся, Маркуша, государь помиловал нас, — шепнул сотник Неустроев Марку, незаметно тронув его локтем.

Но Марку было всё безразлично. После вчерашнего кровохаркания он понял, что дни его сочтены, и какая разница, как умереть: помилованным или подсудным… Вчера фельдшер Смелянский посетил его на гауптвахте, глянул, чем сплёвывает Марк в жестяную кружку, покачал головой и стал уговаривать, чтобы Марк хотя бы на недельку лёг в околоток при лазарете, отдохнул бы, принял нужное лечение. Марк нервно рассмеялся в ответ: «В Европе от чахотки умирает более миллиона человек, а Европа более цивилизованна, чем Россия. А что я? Песчинка. Дунул ветер — и затерялась во Вселенной. Нет уж, Николай Васильевич: пока держусь на ногах — живу!» — «Но тебе нужен абсолютный покой!» — «Мне уже ничего не нужно, доктор». — «В Швейцарию бы тебе, на Альпы!» Смелянский вздохнул, пряча глаза: какие ещё Альпы?.. Спросил упрямца, есть ли кому дома ухаживать за ним, а потом посоветовал отхаркиваться в специальную плевательницу с водой, в которую добавлять дезинфицирующий раствор, причём жидкость менять ежедневно…
— И Василия помиловал, — шепнул Неустроев о бывшем адъютанте. — Вместе Мазаровича дубасили. Вместе под следствием были, вместе и помилованы… Судьба связала нас, Марк!
— А шинель-то была — моя, а её бросили, — упрекнул друга Марк. — Зачем бросили? Кто бросил?
— Да разве в суматохе об этом думали?..

Вдруг Марк почувствовал теплоту в груди, во рту появился солёный привкус. «Ну всё, началось!» — со страхом подумал он. Сначала кашель был глухой, потому что Марк сдерживался, зажимая рот ладонью, потом сдерживаться уже не было сил.
— «Монаршие милости сии, — читал между тем Мазарович, — изъясняются в сих приказах…»

Кашель измучил Марка; припадок был столь сильным, что казалось — это конец и сейчас Марк упадёт. Не выдержали и войска: кто-то шевельнулся, кто-то оглянулся, кто-то лишь повернул голову…

Мазарович так же ловко сунул бумагу за обшлаг шинели и недовольным взглядом обвёл строй войск.
— Команда «вольно» ещё не подана, а кто-то уже осмелился кашлять, расстроил дисциплину, — язвительно заметил он.
— Это Марко Суриков, ваше высокоблагородие; он болен, — сказал Голашевский.
— Если болен, то его место в лазарете!

Марк поднёс к лицу носовой платок, сплюнул в него, посмотрел: мокрота была с кровью, алой и пенистой.
— Он ещё и руками машет! — рассердился Мазарович и, не слушая Голашевского, нервным шагом направился к Марку.

Офицеры вытянулись. Марк зажал в кулаке платок.
— Эт-то чтэ тэкое?!
— Платок, ваше высокоблагородие, — сказал Марк.
— Что, не могли дождаться команды «вольно»?
— Не мог, ваше высокоблагородие: фельдшер не велел плевать на пол, тем паче на землю. Я сплюнул в платок.
— Какой культурный… А устав строевой службы нарушать он тоже тебе велел?

Марк не ответил. После припадка кашля он чувствовал себя усталым, разбитым, не хотелось языком шевелить. Сейчас бы ему лежать в постели, и не лежать даже — полусидеть, имея под спиной две-три подушки, чтоб высоко было и чтобы на нём не было стесняющего платья, чтобы на грудь положили ему холодный компресс, а к ногам — горячие грелки, чтоб давали пить небольшими глотками холодную воду и кормили исключительно холодной и жидкой пищей. И кроме того, как предписал фельдшер Смелянский, принимал бы он успокоительное, вяжущее и кровоостанавливающее средства. Но он стоит в этом не нужном ему строю по этой ненужной стойке «смирно» и должен ещё выслушивать ненужные, далёкие от здравого смысла нравоучения.
— Моли Бога, Суриков, что государь милостив, а то быть бы тебе разжалованным в казаки, — прошипел Мазарович, сверля Марка злыми глазами.

Толпа с любопытством наблюдала со стороны за этой, казалось бы, ничем не примечательной сценой.

— Господин полковник,— возмутилась какая-то дамочка,— да оставьте в покое бедного офицерика!

Несколько посторонних голосов поддержали её, поддержали не из чувства солидарности с нею или из чувства сострадания к «бедному офицерику», а только лишь потому, что хотели развлечений.

— Право, это уж слишком — ругать человека только за то, что он вздумал покашлять,— басил какой-то господин.

— Да вы гляньте, гляньте! Он же еле на ногах стоит, наверно, пьяный! — фыркнула толстая дама.

— Бедняжка… И как же его такого на парад взяли?

— Служба! — многозначительно изрёк обладатель баса.

— А что, на службу и хворых берут?

— Ещё как берут! Раза два под шпицрутенами полежит — и куда только хворь денется! Служба! Там ведь как? Не можешь — научат, не хочешь — заставят…

— Разве можно заставить делать то, чего не хочешь?

— Ещё как можно! Этот молодой офицер не умеет вести себя в парадном строю, вот начальник его и воспитывает…

Мазарович оставил Марка в покое. А напоследок сказал, чтобы он после парада немедленно посетил фельдшера.

Сотник Голашевский ждал дальнейших приказаний. Мазарович подошёл, повернулся кругом, стал рядом, стройный, щеголеватый, и что-то коротко сказал ему. Голашевский подтянулся, подал команду: «Вольно, оправиться»,— и, выждав две-три минуты, в течение которых казаки и солдаты могли бы расслабиться, размять затёкшие члены, потереть щёки и носы, набрал в лёгкие воздуху и протяжно, раскатисто выкрикнул:

— Гар-ни-зо-он!.. Смир-рно!

Очередная команда привела войска в чёткое, слаженное движение. Фронт распался на три казачьих и два солдатских взвода — на пять равных тёмных квадратов, застывших в ожидании новой команды: впереди офицеры, за ними урядники, затем нижние чины, потом офицеры пехотного батальона и подчинённые им унтер-офицеры, фельдфебели, солдаты, одетые в плохо подогнанные тонкие серые шинели. Откуда-то сбоку, доселе невидимая, выступила трубаческая команда с блестящими трубами и, неумело печатая шаг, держа инструменты в левой руке, встала впереди, в голову колонны, с интервалом на полувзвода.

— Гар-ни-зо-он!.. Шаго-ом… арш!

И Мазарович, и Голашевский взяли руки под козырёк, вытянулись.

Трубачи грянули походный марш; войска разом ударили сапогами по белой тверди земли…

8.

Осень стояла долгая, глухая, с мокрым снегом, сыростью и ветрами, лёгкие морозцы то прижмут, как бы играючи, и тут же отпустят, словно в насмешку, с утра и не узнаешь путём, во что одеться, чтобы не насмешить людей. Обыватели ворчали: погода, мол, отвратительная, такой не помнят и старики. Погубительной она была и для Марка Сурикова: опять замучили удушья, причём в ещё большей степени, чем две недели назад; и днём, и ночью бил кашель, кровь приливала к голове, отчего начинались дикие головные боли. К вечеру появлялся жар, сменявшийся лихорадочным ознобом; силы Марка с каждым днём таяли.

По возвращении из Таштыпа Марк выглядел гораздо свежей, был бодр и весел, в друзьях возбуждал надежду, что молодой организм справится с болезнью. Да и сам он стал верить в это. Осень была для него мучительным испытанием. Таяли физические силы. Падали и силы духа. Теперь он редко выходил из дома, а если и выходил, то садился у крыльца на скамейку и жадно ловил ртом холодный воздух. Иногда собирались у него друзья, заходили двоюродные братья Иван и Василий, забегали справиться о здоровье Артемьев, Цыренщиков, Терсков, Голашевский, Затрутин. Племянник Вася бывал у него каждый вечер. Марк уже не воодушевлялся их приходом, в разговор почти не вступал и всё повторял, что жить ему осталось от силы недели две, что смерть уже стоит за его плечами, на долгую жизнь не рассчитывал и мечтами о будущем давно уже не тешил себя.

Верная суриковскому дому Дуняшка на зиму снова перебралась из своей деревни в город и теперь была для Марка и стряпкой, и сиделкой, и в какой-то степени лекаркой — поила больного то отваром купены, то водным раствором стручкового перца, наивно веря в их чудодейственную силу. Бывало, к её радости, Марк получал облегчение и тогда шёл на службу. Днём чувствовал себя получше. Но к вечеру — от различных огорчений и служебных неприятностей, от смутных предчувствий чего-то недоброго, от неблагоприятных для него разговоров и слухов, сильно огорчавших его,— он едва добирался до дома и, обессиленный, падал в кровать. Дуняшка раздевала его, укладывала в постель, отпаивала своими снадобьями и потом усаживалась рядом, чтобы Марк не чувствовал себя одиноким.

В конце ноября Ольга Матвеевна со своим крестником Васей на время перешли жить в дом на Благовещенской.

Болезнь быстро разрушала Марка: бледные щёки провалились, глаза потухли, грудь впала, дыхание стало тяжёлым, страшным. Он слабо улыбнулся Васе, в безжизненных глазах возгорел лихорадочный огонёк.

— Худо мне, племяшек!..— Марк протянул руку, покрытую холодным потом.
— Даст Бог, поправишься, Марко Васильич,— заикнулась Ольга Матвеевна.

Марк приподнялся на локтях, грустно покачал головой и снова упал на подушки, тяжело дыша.
— Как учишься, племяшек?
— Хорошо, дядя,— ответил Вася.
— Слышал я, что ты шибко дерёшься в училище?
— А пусть не лезут!
— Правильно, пусть не лезут. А что тебе крёстная читает?
— Тётя Оля про боярыню Морозову рассказывала. Про святого царевича Димитрия: как убили его…
— Зачем было убивать несчастного мальчика в Угличе? Жил бы себе и жил: он никому не мешал.
— Он припадочным был.
— Он здоровым был. Кому-то было выгодно, чтобы смерть его повлияла на падение царя Бориса… А ещё что у тебя?
— На днях комедию в жандармском манеже смотрел,— оживился мальчик и стал рассказывать.— «Царь Максимилиан» комедия называется. Там у царя сын, его Адольфом звали, такой парнище! А приближённые царя… одного смешно звали— Марк-гробокопатель…— он осёкся, оглянулся на Ольгу Матвеевну и переменил тему рассказа:— А вот ещё такую комедию смотрел— про Стеньку Разина. Там разбойники пьют, гуляют, красных девиц вином угощают…
— Вот полегчает мне, мы продолжим читать хорошую книгу. На чём остановились мы, помнишь?
— Помню. Там Кудимыч с Киршей беседуют…
— Дуняша!— позвал Марк стряпку.— Ты куда девала книжку, что мы читали?
— Да она ж у вас под подушками!— певуче отозвалась Дуняшка из кухни.

На другой день Вася летел домой из училища как на крыльях— учитель Егор Яковлевич впервые похвалил его за прилежание к учёбе.

День был сухой, морозный, тихий. Марк сидел на кровати, свесив босые ноги и кутаясь в одеяло. Старший полковой фельдшер Смелянский, устроясь перед ним на стуле, внимательно слушал, что говорил ему его пациент.
— Физически я совершенно ослаб, Николай Васильевич. Проклятый кашель затыкает горло. Ночью обливаюсь пóтом. Колотьё в груди— постоянное. Кровохарканье душит… Чувствую полное изнеможение тела и слышу, как надсадно стучит сердце: тук-тук-тук… Мне лень вставать с постели, но думаю: а гулять-то надо! Собираюсь. Но долго ходить не даёт одышка. Возвращаюсь, падаю на кровать, закрываю глаза и слышу— кто-то крадётся ко мне, осторожно склоняется, и я чувствую ледяное дыхание… Открываю глаза— никого.
— Гулять надо, больше гулять!— фельдшер встал.— Давай-ка, дружок, одевайся— и на чистый воздух…

Марк послушно откинул одеяло и стал одеваться. Кряхтел, кашлял, тяжело и шумно дышал, ворчал, что не может попасть ногой в шаровары, а когда наконец оделся, то от усталости повалился на диван в передней.

С помощью Дуняшки и фельдшера он вышел во двор, походил немного и в изнеможении опустился на заветную скамейку. Рядом присел племянник. Марк приобнял его и с виноватой улыбкой, как бы оправдываясь, произнёс:
— Вот я и нагулялся. Когда я так сижу, мне лучше.
— А давай, дядя, будем книжку читать!— вдруг предложил Вася; он хотел подольше задержать Марка на свежем воздухе.
— Правильно, читайте,— одобрил фельдшер и ушёл.

Вася вынул из-за пазухи книгу, протянул Марку. Тот полистал, нашёл нужную страницу. Однако читать не спешил— ждал, когда успокоится расходившееся сердце. Потом поднёс книгу к глазам и стал читать:
— «…Тут вдруг Кудимыч побледнел, затрясся, и слова замерли на языке его. „Ну, что ж у них на хуторе?— сказал запорожец.— Да кой прах? Что с тобой сделалось?“ Вместо ответа Кудимыч показал на окно, в которое с надворья выглядывала отвратительная рожа с прищуренными глазами и рыжей бородою. „Омляш!“— вскричал Кирша, выхватив свою саблю, но в ту же минуту несколько человек бросились на него сзади, обезоружили и повалили на пол. „Скрутите его хорошенько!— закричал в окно Омляш.— А я сейчас переведаюсь с хозяином. Ну-ка, Архип Кудимович,— сказал он, входя в избу,— я всё слышал: посмотрим твоего досужества, как-то ты теперь отворожишься!“— „Виноват, батюшка!— завопил Кудимыч, упав на колени.— Не губи моей души!.. Дай покаяться!“— „Ах ты, проклятый колдун! Так ты всякому прохожему рассказываешь, где живёт наш боярин?“— „Батюшка, отец родимый! В первый и последний раз проболтался! Век никому не скажу!“— „И не скажешь! Я за это порукою…“ Омляш махнул кистенём, и Кудимыч с раздробленной головой повалился на пол…»

Марк устал, откинулся к стене, книга выпала у него из рук. Вася поднял её, сунул за пазуху. Сказал:
— Пойдём домой, дядя…

Ольга Матвеевна и Дуняшка помогли Марку раздеться, уложили в постель, напоили чаем.

Марк закрыл глаза, и опять почудилось ему— кто-то осторожно крадётся. Вот он положил рядом с его рукой свою сухую холодную руку. Рука эта медленно поднялась и резко схватила Марка за горло. Сопротивляясь, он напряг все свои силы, но тщетно: костлявая рука душила его, душила, боль становилась всё невыносимей, но вдруг ослабла, и Марк, изловчившись, оттолкнул эту

холодную отвратительную руку. И сразу сделалось ему хорошо, даже приятно. Однако ощущение, что кто-то всё ещё стоит у кровати и смотрит на него пристально злыми бесцветными глазами, не проходило…

— Я, кажется, бредил? — заговорил Марк, открыв глаза.

— Да нет, — сказала Ольга Матвеевна, вязавшая носки для Васи. — Но спал беспокойно…

— Дурацкий сон… Вася! — позвал он. — Давай почитаем…

Дальнейшие события в книге развивались быстро, почти стремительно. Омляш велел повесить Киршу на сосне у самых ворот. Удалой перекинул через толстый сук верёвку, Омляш сам сделал петлю и сам набросил её Кирше на шею…

— И повесят? Неужто повесят, ироды? — Васе было жаль Киршу.

— Не перебивай, слушай дальше!

Конечно же, Кирша оказался хитрей, чем о нём думал Омляш; недаром его колдуном зовут; он и тут вывернулся, придумал сказку про зарытый клад, и ему развязали руки жадные до золота разбойники. Вася радовался и восхищался его настойчивостью, с нетерпением ждал развязки.

— А правда, что там есть клад?

Марк, не ответив, читал дальше:

— «Когда Кирше развязали руки, он спросил заступ, очертил им большой круг подле часовни и стал посредине; потом, пробормотав несколько невнятных слов и объявя, что должен послушать, выходит ли клад наружу или опускается вниз, прилёг ухом к земле. Сначала он не слышал ничего: всё было тихо кругом; наконец ему послышался отдалённый конский топот…»

— Казаки на выручку скачут! — догадался Вася, хлопнув в ладоши.

Да, это были казаки. Омляш спохватился, но было поздно. Крикнув: «Измена!» — он занёс над Киршей нож, но был сражён казачьей пулей.

От радости Вася чуть не упал с кровати.

— Ай да Кирша! Ай да молодец! — повторял он. — А Юрия Милославского они выручат?

— Завтра узнаем, — Марк в изнеможении откинулся на подушки.

И снился в ту ночь Васе сон: будто сидят Шалонский с Турепиным в избе, ждут Омляша с товарищами, а вместо них врываются Кирша и Алексей с пистолетами, и где-то рядом он, Вася, тоже с пистолетом в руке. «Если из вас кто-нибудь пикнет, то тут вам и конец будет», — говорит Кирша и нацеливает пистолет в Шалонского. Вася нацеливает свой пистолет в Турепина. «Говори, где запрятан у тебя Юрий Милославский?» Шалонский потянулся за ножом, но его удержал Турепин: «Бога ради, боярин, не губи нас обоих!» Потом казаки идут с ним в подземелье, отпирают железную дверь и видят: лежит на соломе, прикованный толстой цепью к стене, несчастный Юрий Милославский. С него сняли цепи, а в подземелье втолкнули Шалонского с Турепиным…

Продолжить чтение им больше не удалось. Марку опять стало худо. Сознание неизлечимой болезни мучило его, и он говорил Ольге Матвеевне:

— Чего бы, кажется, лучше — не знать, что болен чахоткою? Болен и болен, придёт время умирать — умру. Но эти страдания души и тела… зачем они? Я знаю, дни мои сочтены, я скоро умру, и после меня ничего не останется. Так для чего я ещё живу? Может, взять да и сразу…

— Теперь я тебе скажу, Марко Васильич, — перебила его Ольга Матвеевна. — Не гневи Бога! — Ольга Матвеевна просунула руку под голову Марка, чтобы поправить, подбить выше подушку; затылок был горячий. — И не смей даже помыслить об этом! Ты жил достойно, достойно и умереть должен!

— О Боже, за что? Я же ещё почти и не жил! Не хочется расставаться с товарищами, с родственниками, с небом, солнцем… А что смерть? Гадкая штука. Против неё бессильны все — и наука, и вера. Почему же Господь так жесток ко мне, умирающему?

— Тебе нельзя много говорить. Постарайся уснуть.

— Я скоро усну совсем…

Исхудавший, с горящими лихорадочными глазами, со свалявшимися волосами, заросший чёрной бородой, в которой запуталась ранняя седина, он лежал в жару, без сил и часто — без памяти.

С первых же дней декабря завернул мороз под сорок, разрисовал окна замысловатым узором, в доме по два раза — утром и вечером — стали топить печи. Роскошь, конечно, при дороговизне дров на базаре, но ради Марка Ольга Матвеевна денег не жалела.

В эти дни Марку опять полегчало, и он даже выходил на несколько минут во двор подышать свежим воздухом. За это время женщины сменили ему постельное бельё, проветрили комнату, вымыли плевательницу и налили в неё воды.

Марк вернулся в сопровождении зауряд-хорунжего Цыренщикова, недавно утверждённого в должности полкового адъютанта, который тоже, как и Марк, выбился в офицеры ещё при атамане Александре Степановиче. Молодой, энергичный, исполнительный, он выбился и при Мазаровиче — стал адъютантом, сменив есаула барона фон Будберга, уехавшего в Читу командиром шестого батальона Забайкальского казачьего войска. До этого Иван Козьмич Цыренщиков долго ходил в помощниках у полкового казначея Александра Затрутина, потом у Василия Сурикова, когда тот был адъютантом.

— Скажи, Ваня, что с Василием? — спросил Марк. Тяжело, со свистом, дыша, он как вошёл, так и сел на диван в передней, не снимая шинели. — От меня все что-то скрывают, Ваня, — продолжал он,

откашлявшись и выплюнув в платок пенистый сгусток крови.— А ты, Ваня, скажи мне правду, не жалей меня!

Цыренщиков помялся и небрежно произнёс:

— Совершенно глупая история, Марк!

— В чём глупая? Василий ждёт решения военно-судной комиссии. За что его судят, Ваня?

— Если помнишь, летом прошлого года счётная комиссия проверяла полковое имущество и доложила, что по сделанному учёту в числе прочего оружия недостаёт тридцати двух карабинов и одиннадцати пик. Правда, три карабина потом нашлись. Стали выяснять, когда эти проклятые карабины и пики пропали. А пропали они ещё во время командования полком атамана Александра Степановича.

— Ну, об этом все знали, Ваня,— сказал Марк.— Покойный дядюшка распорядился, чтобы казаки оружие сдавали в цейхгауз, уходя на льготу… При чём тут Василий?

— А вот при чём! Как-то на смотру Мазарович возьми да и скажи, что карабины эти треклятые покойный атаман вместе с его адъютантом неизвестно куда сплавили, и ещё неизвестно, кто стреляет из них. Тут Василий Матвеевич вскипел: «Как вы смеете говорить такое, не узнав истины?» Мазарович ему: «Молчать! Вижу, не дорожишь офицерскими эполетами, можешь и потерять их…» Ну, Василий Матвеевич и взорвался. «Ах,— говорит,— вам эполеты мои дороже чести покойного атамана?.. Так возьмите! А честь возьмёте только у мёртвого!..» Сорвал эполеты с плеч и хлесть, хлесть Мазаровича ими по лицу. Бросил к его ногам и ушёл…

— Вот оно как дело-то было!— Марк покачал головой.— А мне говорили, будто какую-то казачку плетьми наказал…

— Мазарович не может простить вам и той шинели…

— Значит, дуэль?

— Дуэли запрещены, Марк. Самое худшее, что грозит Василию Матвеевичу, так это разжалование в рядового казака и увольнение в отставку без пенсиона.

— А Василий-то — я знаю его! — наверняка готов был стреляться,— сказал Марк. Он опять закашлялся, сплюнул в платок, сунул его в карман и спросил:— А ты чего явился ко мне, а, Ваня?

Цыренщиков не успел ответить — вошла стряпка, молча стянула с Марка папаху, шинель, пимы и отвела в комнату. Немного помедлив, вошёл туда и Цыренщиков.

Марк лежал в кровати с вытянутыми вдоль тела тонкими руками.

— Рапорт напиши, что хвораешь,— сказал ему Цыренщиков.— Порядок есть порядок. В приказ надо…

— За этим и пришёл?— Марк усмехнулся, шевельнув мокрым кончиком левого уса.— Напиши сам: зауряд-хорунжий Суриков заболел двадцать восьмого числа ноября ломотою в ногах, пояснице, болью в груди, животе и голове, не может впредь до выздоровления исполнять службу его императорского величества… Написал? Давай сюда!

Не читая, Марк расписался и поставил дату: «2 декабря 1856».

— Ты, Ваня, всё знаешь,— снова заговорил Марк.— Скажи: что в мире-то делается?

— О, мир живёт и меняется с каждым днём!

Новости были поистине любопытны и представляли немалый интерес для Марка; он как-то даже ожил, слушая, подымался и дух его; он и радовался, и огорчался при этом, хотя и то, и другое было ему противопоказано. Настораживало то, что Муравьёв постоянно передвигал кадры — тасовал, как игральные карты. Бригадный командир генерал-майор Аничков награждён орденом Святого Владимира III степени и уволен в запасные войска. Государь велел производить ему пенсион в одну треть получаемого им жалованья. На его место назначен временно войсковой старшина Сухотин, командир Иркутского казачьего конного полка, но вскоре бригадным командиром становится полковник и кавалер Шелашников. Адъютант генерал-губернатора подполковник Моллер 5-й награждён орденом Святой Анны II степени с императорской короной и уволен в отпуск за границу «для излечения болезни от раны, происходящей в ляжку при бомбардировке Николаевского порта английской эскадрой в прошлом году». Моллер 5-й два месяца жил во Франции, в Марселе, а по возвращении в Иркутск был переведён в Амурский пехотный полк. Из Николаевского поста прибыл в Иркутск капитан-лейтенант сорок седьмого флотского экипажа Чихачёв, которого Муравьёв посадил на должность дежурного штаб-офицера по морской части. Барон фон Будберг получил чин войскового старшины и, оставаясь командиром шестого батальона, назначен старшим членом войскового правления Забайкальского казачьего войска.

— А что в нашем полку?— перебил словоохотливого Цыренщикова Марк.

— И у нас изменения: Мазаровичу государь пожаловал орден Станислава II степени. Старших урядников Василия Оглоблина и Василия Тюменцева генерал-губернатор произвёл в зауряд-хорунжие. Андреян Каргин произведён на вакансию в зауряд-сотники.

— На чью вакансию?

— Вероятно, Василий Матвеевич уже того… уволен. И ещё,— продолжал Цыренщиков.— Мой помощник Саша Затрутин получил очередной чин — зауряд-сотника. А я пока — зауряд-хорунжий! — в голосе промелькнули нотки зависти.— Но ничего, командир и на меня представление подал… за отлично-усердную и ревностную службу.

…Марк уже не слушал его — забылся или уснул и во сне начал дёргаться, двигать руками, стонать, потом захрипел. Цыренщиков с испугу ретировался, а в комнату вбежала Дуняшка, за нею — Ольга Матвеевна.

Страхи оказались ложными. Марк открыл глаза — кашель душил его. Дуняшка держала наготове плевательницу с крышкой, Ольга Матвеевна — полотенце, чтобы промокнуть мокрый лоб Марка.

— Сон мучает меня, — сказал Марк, успокоясь. — Один и тот же сон: смерть приходит и начинает душить. Спрашиваю: «За что душишь?» — «А ты разве не знаешь?» — «Нет», — говорю. Смотрит на меня долго в упор, и улыбка у неё мерзкая. «Я, — говорит, — возьму твою жизнь. Только не сейчас…» Значит, скоро, — Марк попробовал улыбнуться. — Похороните меня рядом с дядюшкой…

Несколько дней он не выходил гулять — не мог встать с постели, и комнату по совету фельдшера стали чаще проветривать. Больного укрывали ещё одним одеялом и открывали форточку. Читать он тоже не мог, не мог долго и говорить.

— Прости, племяшек, так и не дочитали мы, — едва слышно произнёс он, когда Вася подошёл к его кровати.

— А я теперь сам читаю, — похвастался мальчик. — Я даже знаю: в Сибири, на Ангаре, есть деревня Милославская. В тысяча шестьсот восемьдесят девятом году Пётр Первый сослал в Сибирь бояр Милославских, они деревню своим именем и назвали. Так учитель Егор Яковлевич говорил.

— Егор Яковлевич — это кто?

— Мясников его фамилия.

— Ага, знаю. А ещё что он говорил?

— Говорил, что Иван Милославский — наверно, брат Юрия. Погубил Артамона Матвеева; его стрельцы на пики подняли, когда он вышел на крыльцо, чтобы прекратить бунт. А ещё говорил: пол в доме Артамона Матвеева выложен из плит, которые ему принесли богатые горожане с могил своих отцов.

— Да, — подтвердил Марк. — И Державин о том же писал: «Свят дом, под кой народ гробницы Матвееву принёс!»

— Представил я, как это всё было, — и такая картина получилась!.. Нарисовать хочется…

— А ты рисуй, племяшек. По частям. По членам. Соединишь — будет картина. У тебя вся жизнь впереди…

Каждое слово давалось Марку с трудом; он скоро устал, впал в забытьё, но через четверть часа очнулся и — счастливый — сказал, что у него ничего не болит, только вот слабость, угнетающая всё его тело… Потом он стал говорить — будто бы речь, обращённую к Богу, из которой трудно было что-либо понять, — речь сбивчивая, сумбурная, обрывочная: о честности, о верности… Он спешил, задыхался, вскакивал и падал, его поддерживали, укладывали в постель, а он всё порывался куда-то идти, но не мог сделать и шага. Блестевшие лихорадочным блеском глаза источали безумие. Прибежавший фельдшер глянул на него и сказал, чтобы приглашали священника, а он уже ничем не сможет помочь умирающему.

Священник Пётр Попов не заставил себя ждать, явился тотчас же и начал приготовления к священнодействию. В короткий миг просветления сознания Марка он исповедал его и приобщил к святым тайнам.

Через несколько минут Марка не стало.

Отец Пётр, в епитрахили, с кадилом в руке, запел отходную:

— Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная…

Сын туруханского сотника и гордой казачки из рода мятежных черкасцев — «седьмой сын», как его называла мать, — ушёл из жизни, не оставив после себя ни детей, ни капитала. И только маленький отросток, пригревшийся подле и уже набиравший силу, всегда будет помнить уроки своего дяди, которые со временем дадут прекрасные плоды…

9.

Приказ по Енисейскому казачьему конному полку. В Красноярске декабря 12 дня 1856 г., № 720.

Зауряд-хорунжий командуемого мною полка Марк Васильев Суриков от одержимой его болезни, ломотою в ногах и болию в груди 11 числа сего месяца волею Божиею помер.

Объявляя о сём по командуемому мною полку, предписываю умершего зауряд-хорунжего Сурикова исключить из списочного состояния полка и при погребении его поступить согласно 848 воинскому уставу о пехотной службе.

Командующий полком войсковой
старшина Мазарович.
Полковой адъютант Цыренщиков.

Выписка из метрической книги градокрасноярской Троицкой кладбищенской церкви.

11 декабря скончался, 13-го погребён Енисейского казачьего конного полка зауряд-хорунжий Марк Васильевич Суриков, 36 лет, от чахотки. Исповедал и причащал священник Пётр Попов.

Совершал погребение священник Василий Хаов с дьяконом Павлом Арефьевым, дьячком Сергием Соловьёвым и пономарём Иоанном Трусовым на Троицком кладбище.